
Александр МЕЛИХОВ

ТРИЗНА

Повесть

УДАР САМУРАЯ

Олег никогда не видел Обломова вверх ногами, но колхозный титан и вверх ногами был бы похож на маршала Жукова, изваянного римским скульптором и через несколько веков издолбанного молотком христианского фанатика, прозревшего в статуе идола, — был бы похож, если бы служба хорошего настроения не навалила его телесным гримом, маскировочным средством дряхлеющих баб, превращающим их в трупы, а его труп превратившим в дряхлеющую бабу. Они втерли этот фильдековский цвет даже в ямки на месте выбитых глаз, а следы осколков, пробудивших обломовский гений, попытались и вовсе затереть слоем тройной жирности.

Маршал, поглотит алчная Лета...

Олег всегда старался не глядеть на мертвецов, потому что они потом стояли в глазах лет сорок-пятьдесят. Но на Обломова в гробу он смотрел примерно так же, как на мавзолейного Ленина когда-то, — это был не человек, а исторический персонаж. Вот и о смерти Обломова редкие возвышенные натуры говорили скорее с благоговением, а натуры плебейские с плебейским интересом (кто таперича будет главным?), горе прозвучало только в гудящем голосе Мохова:

— Ты слышал, какое несчастье?..

Иван Крестьянский Сын был потрясен, словно внезапной гибелью близкого человека, хотя годами Обломов был уже настоящий патриарх. Но его все равно невозможно было воспринимать стариком — этакий старый-от казак да Илья Муромец, прилизывающий свои седины назад, как он это усвоил в конце сороковых от изредка наезжавшего в их колхоз районного начальства. Он любил вворачивать и всякую народную мудрость типа «Не гони коня кнутом, а гони овсом» — хотя при желании умел демонстрировать и аристократические манеры. От него и супруга набралась какого-то величия, из колхозной Катюхи превратилась в своего рода матушку Екатерину захоласту-

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, зам. гл. редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия «Учительской газеты» «Серебряное перо». Премия 2008 года журнала «Полдень, XXI век» (гл. редактор Борис Стругацкий). Премия фонда «Антифашист». Лауреат премии журнала «Иностранная литература» за 2015 год. Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квизимодо» (2017).

ного масштаба, грозу и покровительницу всех обломовских аспирантов и просто грозу аспиранток: столичного лоску она так и не обрела, ходит вперевалку, зато к увековечению приступила с последним ударом мужниного пульса, у нее и под траурной кружевной шалью на ее лице престарелого Шаляпина проступает больше гордости, чем скорби: выделили самый главный колонный зал, с трибуны которого, Олегу когда-то казалось, Ленин провозгласил: «Геволуция свегшилась!», и с этой реально высокой трибуны теперь реально нескончаемым потоком льются соболезнования и панегирики: телеграмма от президента, телеграмма от губернатора, траурные речи восьми академиков, трех ректоров, роскошные венки в три слоя, а почетному караулу так и вовсе не видно конца.

Почетный караул у гроба Екатерина Андреевна подобрала с поистине византийским искусством: в головах Олег и Филя — самый культурный и самый простецкий из обломовских учеников (демократизм), в поясе Бахыт и Мохов (интернационализм) и в ногах два еврея, Кацо и Грузо, Кац и Боярский, выписанные из Израила и Америки. Они оба получили от матушки умоляющие электронные письма о том, что Владимир Игнатьевич умирает и хочет перед смертью сообщить им что-то очень важное. Мужики срочно бросились в аэропорт — уж не покаяться ли перед ними желает тот, кого называли главным антисемитом Ленинграда, и узнали, что письма она отправила уже после его смерти. Зачем она это сделала, заморские гости спросить не решились, но ясно, что иначе бы они, скорее всего, не приехали. А вот зачем они ей понадобились, Олег догадывался: в членкоры в свое время Обломов проскочил как по маслу, а вот в академики его несколько раз катанули (еврейская партия, уж кого они там имели в виду), так нужно для очищения его посмертного образа поставить в первый ряд именно евреев, да еще и прилетевших на похороны один из-за Средиземного моря, а другой аж из-за Атлантики.

Похоже, и гроб из какого-то роскошного красного дерева был выбран с неким намеком на атлантизм: шестиугольный, расширяющийся где-то на широте обломовских плечей, с белоснежной шелковой оторочкой в сборочку, напоминающую панталоны дорогих куртизанок, — это у Обломова, которому бы куда больше пошла домовина, выдолбленная из цельного мореного дуба. Но Екатерина Андреевна предпочла скопировать похороны какого-то американского президента, да и могучие сыновья, мрачно сидящие рядом с нею на параллельной гробу скамье скорби, все как один доктора с обломовско-жуковскими подбородками, все как один слетелись из разных американских университетиков, а когда-то Обломов покупал им ботинки целыми партиями в военторге, хотя и платил партийные взносы с тысячи рублей, и воспитывал их в патриархальном почтении к отцу-матери и к семейным делам. Как, бывало, в деревне: старшие пасут младших, только ходят не в лес за грибами, а в магазин за продуктами.

Подселенную под занавес в их дом аспирантку с шестым обломовским отпрыском до скорбного торжества не допустили, зато широколицая Людмила, в черном платке до глаз превратившаяся в игуменью, почему-то каменела на этой же скамье, уже заработав от баб прозвище «безутешная вдова».

А вот Филя, в профиль по-прежнему похожий на продавленную пальцем резиновую пленку, только теперь уже сморщенную и готовую вот-вот растрескаться, то и дело еле слышно комментирует происходящее с таким убитым видом, будто шепчет клятву верности ушедшему учителю. Матушка Екатерина ему благоволит: дураков ошибочно считают добрыми и верными, как будто для злобы и подлости нужен какой-то ум. Но Филя и правда проявил кое-какую верность, когда Обломов держал осаду в своих хоромах на Фурштатской. Он из принципа не позволял днем запирать дверь («мы русские, живем в России — кого нам бояться!») и однажды услышал, как по его квартире расхаживает какая-то пара, оживленно обсуждающая будущую расстановку мебели.

Оказалось, обломовское семейство собираются выселять ради капремонта, после которого квартира уже назначена этой самой паре. Обломов выезжать отказался, ему отключили электричество, так что им с Екатериной Андреевной пришлось вернуться в деревенское детство с лучиной и самодельной печуркой, изготовленной институтскими теплотехниками, и тут надо отдать должное Филе — именно он обегал всех генералов и генеральных конструкторов и дошел чуть ли не до президента, в чьей телеграмме теперь научные заслуги Обломова перечислены почти без ошибок.

Теперь эти самые генералы и генеральные конструкторы один за другим перечисляют с трибуны еще и рассекреченные обломовские достижения, — и к чему только Обломов не приложил свой нечеловеческий ум!

Борьба с американскими авианосцами до полной потери их боеспособности, самонаведение крылатых ракет, автоколебания подводных лодок, управление искусственными спутниками, системы инерциальной навигации, водородное топливо, холодный термоядерный синтез, размораживание метангидрата в Заполярье, планирование транссибирской транспортной сети и математический анализ метаболизма, оптимизация животноводства и волоконно-оптическая связь...

— Сейчас пойдут бабы, — еле слышно промычал Филя, и действительно хлынул поток кликушеских восторгов: мужественная рука, источающая незримую энергию созидания, защиты от всего мелочного, наносного, светлый человек, неутомимый романтик, ученый-патриот, отдавший жизнь родине до последнего удара сердца, из каждой его клеточки ум, энергия полыхали с необыкновенной скоростью, мысли лились Ниагарским водопадом, такие люди рождаются один раз в тысячу лет.

— А теперь выпускают дурдом.

Через трибуну и впрямь двинулся обломовский паноптикум: по каким-то загадочным причинам Обломов любил окружать себя странными личностями, давал им должности, проводил через подручные ученые советы, и время от времени в коридорах начинали попадаться то никогда ни с кем не здоровающийся мясистый молодой человек в надменно развевающихся брюках, отыскивающий на Алтае следы снежного человека, то изможденный потертый весельчак, уверяющий, что можно достичь бессмертия через нужное соотношение пульса и давления («человек не батарейка, а аккумулятор»), то напористый коротконосый строитель, проповедующий в целях улучшения климата прорыве водного кольца вокруг Российской Федерации, то застенчивый целитель почечной недостаточности козьей мочой, то жизнерадостный Карабас-Барабас, применяющий квантовую механику к астрономии, то как бы раз и навсегда заплаканная женщина, отдавшая жизнь возрождению лысенковских идей: приобретенные признаки наследуются, наследуются, наследуются!!! А последовательная тренировка может превратить болонку в бульдога, и спорить с этим способны только закоренелые расисты!!!

Олегу казалось, что Обломова эти пузыри земли только забавляют, как в старину патриархальных бар и купцов забавляли живущие у них в приживалах и приживалках дураки и дуры, но Мохов настаивал, что Обломов якобы считал, будто одна из тысячи безумных идей может оказаться гениальной; Олег, однако, никак не мог поверить ни в то, что сумасшедшие действительно что-то могут породить, ни в то, что Обломов способен в это поверить. Обычно эта братия либо замыкалась в непроницаемом презрении ко всему окружающему, либо, наоборот, обожала, поймав любого за полу, душисть теорией в углу, но на этот раз матушка Екатерина сумела их обуздать: поднимаясь на кафедру, они изливали только славословия Обломову, который единственный их понял, а все остальные псевдоученые в кавычках умеют только топить конкурентов, трясясь за свои липовые докторские диссертации, они ради этого и на преступление способны, и надо еще подумать, почему Обломов так внезапно... — в таких местах вне-

запно отключался микрофон, а самый здоровенный из Обломыхей, Игнат, заботливо помогал увлекшемуся оратору сойти с трибуны, и скандала удавалось избежать так изящно, что его близость замечали лишь самые посвященные.

Развернуться позволили только Копенкину, но уж очень он был гармонично пузат, приземист, благороден и непримирим, и очень уж внушительно блестела его крепкая лысина, и светились ватные усики: агенты малого народа шесть раз проваливали его докторскую диссертацию в разных республиках Советского Союза, и лишь Обломов на седьмой раз сумел их одолеть в Алма-Ате — там оказался более сильный исламский эгрегор, в котором славянский эгрегор и должен искать союзника по борьбе с эгрегором иудейским, использующим латинский алфавит для разрушения энергетического потенциала кириллицы.

Публика в зале, включая академиков и генеральных конструкторов, с трагической серьезностью внимала тому, что академик Обломов был эгрегориальным вождем, сумевшим преодолеть сопротивление каббалы и проникнуть в ноосферу, а владыки ноосферы и есть хозяева мира. Но слепота сделала Владимира Игнатьевича ясновидящим, и ему открылись информационные коды, позволяющие управлять энергией времени. Однако ноосферное мировое правительство почувствовало, где началась утечка хроновещества, и нанесло свой подлый удар давно отработанным методом: астральный удар в сердечную чакру — и жертва умирает якобы от сердечного приступа.

Чтобы глаза непроизвольно не полезли на лоб, Олег начал разглядывать почетных караульчиков, с которыми жизнь тому назад кормил комаров-вертолетов на северной шабашке. Вот они и встретились невзначай, пускай и не проселочной дорогой, но обнялись довольно-таки братски, насколько позволяла близость гроба. Который, чтобы поменьше на него смотреть, теперь подталкивает разглядывать былых друзей и однокашников хотя бы со спины. Темно-синий костюм Мохова напоминает о робе, которую тот все заполярное лето оттаскал на своих сутулых мосластых плечах, за эти десятилетия сделавшихся еще более сутулыми и мосластыми, но не по-интеллигентски, а по-рабоче-крестьянски. Желтоватые, как бы прокуренные сквозящие седины довершают его сходство со стареющим мастеровым, хотя именно Крестьянского Сына Обломов продвинул на свое место, когда у него случилась легендарная стычка с этой обкомовской змеей с пышной прической «вшивый домик»... Как ее там звали?.. Полубояринова, что ли? Или полная Бояринова? Сик транзит...

В тот зимний, клонящийся к вечеру день у Обломова на лестнице почему-то погас свет, и Олег двинулся медленно, придерживаясь за перила, нащупывая ногой каждую следующую ступеньку, а Обломов сбежал вниз с третьего этажа, не касаясь ни перил, ни стен. В интернате для слепых он когда-то на ощупь по водосточной трубе и по карнизу, к ужасу директора, забирался на четвертый этаж и до последних дней ходил без палки, хотя в кабинете у него стояла их целая коллекция, хоть в музей — дареных. А эта партийная гнида за какие-то его предыдущие дерзости решила помариновать их в приемной. Прочая галстучно-пиджачная публика цепенела с полной покорностью, а Обломов потерпел минут двадцать, а потом обратился к Олегу с какой-то особенной доверительностью:

- Олег Матвеевич, ты, говорят, свистеть умеешь громко?
- Умел когда-то, Владимир Игнатьевич.
- А ну давай свистнем, кто громче. Сначала ты, потом я.
- Да ну что вы, Владимир Игнатьевич, нас арестуют!..
- Ничего, вместе будем сидеть. Давай-давай, под мою ответственность.

Олег, вложив два пальца в рот колечком, свистнул все-таки вполсилы, но и этого хватило, чтобы вся приемная вскинулась, а секретарша, выпучив глаза, вскочила на ноги — такого тут не слышали с семнадцатого года.

— А теперь я, — и Обломов вложил в рот два пальца правой руки и один левой.

От его от посвисту соловьиного маковки на теремах покривились, а околеники во теремах рассыпались, а что есть людишек, все мертвы легли.

Полубояринова вылетела из кабинета пулей и застыла с разинутым ртом. Однако реальную власть над «Интегралом» Обломов не потерял — преданный Мохов все делал по его указаниям, подаваемым как дружеские советы. Да и вообще у Обломова был такой заоблачный авторитет, что перечить ему мог решиться разве что какой-нибудь святотатец.

Интересно, что Обломов безошибочно почувствовал, когда Олег перестал его обожать, и тоже перестал брать с собой на важные, да и ни на какие другие встречи. Но в остальном ничего не изменилось: он понимал, что Олег все равно его чтит и никогда не предаст.

— Проникнув в ноосферу, Обломов мог легким щелчком по карте США вызвать землетрясение в Сан-Франциско, — продолжал просвещать публику Копенкин. — Он мог капнуть из шприца на карту региона и вызвать наводнение в Новом Орлеане. Он мог специальным узлом связать флаги России и Украины и этим вызвать дружбу этих стран. Разве это могла потерпеть мировая закулиса?

Олег поспешил перевести взгляд на Бахыта. Он всегда был высокий и поджарый, их индеец среди ковбоев, а этот черный костюм, в котором он в последний раз показывался на докторской защите, теперь и вовсе висит на нем как на вешалке — этаким восточный аскет. Его конского волоса ежик совсем не поредел, только пересыпался серебром, но у глаз пролегли покорные морщинки усталого рикши, — вот Грузо поседел прямо-таки вдохновенно, по-дирижерски, на траурный митинг явился элегантный, как мафиозо на похоронах Вито Корлеоне, только длинноватая для чеховской серебряная борода в сочетании с наметившейся гулей на орлином носу напоминала о старике Хоттабыче. Но статен, статен по-прежнему.

А Боря Кац не столько поседел, сколько облез и потускнел (трава превратилась в сено — стригся бы налысо, как сам Олег...), даже лысина его в отличие от сверкающей копенкинской ничуть не отражала люстру, и сутулость его была не трудовой, а понурой, и поношенный серый костюмчик он, похоже, вывез из Кременчуга. Костюмчик был ему тесноват — на боках образовались перетяжки, хотя Кацо всегда был пузанчиком, — но нынче от тоски не худеют, а полнеют. Боря зачем-то отрастил еще и седоватые усики щеточкой, делающие его в сочетании с обыденной до тоски озабоченностью похожим на немолодого сапожника из черты оседлости. А когда-то с благоговением произносил слово *интеллигент*...

— Кому мешал Обломов, мы теперь понимаем. Но кому из его окружения был выгоден его уход? — ставил вопрос вопросов Копенкин. — Кому его уход развяжет руки?

Ясно кому — Мохову. Но тут наконец-то отключили микрофон.

Уфф, идет их сменить какое-то племя младое, незнакомое. Для Олега теперь и тридцатилетние были молодыми, а когда-то казались непоправимо взрослыми. Лица вроде видел, но теперь он в осыпавшемся «Интеграле» по именам никого из новых не знал. Мохов за четвертушку ставки появляться не требовал, Олег и не появлялся.

Они снова оказались в темноватой галерее академиков, где вскорости появится и метровое фото Обломова. Олегу почему-то было неловко смотреть на всплывших из Леты друзей, — непонятно было, как себя с ними вести, — да и портреты со стен смотрели укоризненно. Вернее, металлурги, атомщики, проектировщики танков и судов его просто игнорировали, а вот оба затесавшихся сюда чистых математика отвернулись от него прямо-таки с презрением — не прощали измену проблеме Легара.

— Ну, что, двинули в «Манхэттен»? — с преувеличенной бодростью спросил Олег. — Мы же там в последний раз сидели. Там теперь, правда, японский ресторан «Харакири». Или «Камикадзе», как-то так. Но нам, татарам, один черт: что водка, что пулемет — лишь бы с ног валило. Что-нибудь про Лбова кто-нибудь слышал? В последний раз его видели в Тюмени — пьяный валялся...

Заморские гости и этого не слышали.

Барбароссу как посадили за мухлеж со строительными нарядами, так его никто больше и не видел, а Тарас Бондарчук, его напарник и подельник, как-то выкрутился, прошел свидетелем и укатил к себе на Галичину. Но Олегу однажды в телике при виде, что мрачный мужик с кобзарскими усами на киевском Майдане, раскручивающий пращу с коктейлем Молотова, был Бонд: недаром Олегу всегда хотелось приклеить Бонду шевченковские усы.

— Так что отыскался след Тарасов. Я еще на Сороковой миле подумывал, что расстрелянный отец когда-нибудь его на что-нибудь подвигнет.

— Вы все бандеровский след ищите, а лучше на себя оборотитесь. Воду на Украине мутит Россия, — ужасно неожиданно выскочила эта принципиальность из-под жалкой седеющей щеточки Бориных усиков.

— Конечно, Россия, такая теперь пошла гравитация: раньше во всем были виноваты евреи, теперь русские.

Олег сказал это, чтобы опередить Мохова, тот бы ответил куда как резче, но вообще-то от возражений психозы только обостряются, а политические, национальные страсти несомненно массовые психозы. К счастью, Мохов пребывал в скорбной отключке, и первая искра взрыва не вызвала.

— А насчет Бонда мне, скорее всего, показалось.

Зато Бахыту точно не показалось, что охранник, задержавший его в метро «Ломоносовская», был Тед, Юра Федоров, — раздобыл, но от этого перекрывал путь под землю лицам с восточным разрезом глаз еще более неотвратимо. Он Бахыта тоже узнал, так что даже паспорта не спросил, хотя Бах мог бы его порадовать еще и дипломом лауреата Госпремии, который теперь на всякий случай постоянно носил с собой. Бахыту хотелось порасспрашивать Теда что да как, может, даже пропустить по стопарику, но Тед, некогда увлекавшийся эротической поэзией восемнадцатого века, похоже, чувствовал себя униженным, в глаза не смотрел, все время оглядывался...

Ну, Бах и не стал его прессовать.

Грош? В последний раз кто-то его видел в Калининграде, по обыкновению собирался все бросить и уйти в море. Но это было черт-те когда, еще до перестройки.

— До катастрофы, — внезапно ожил Мохов. — Целились в коммуник, а попали, как всегда, в русского мужика.

Бахыт, однако, напомнил, что русский мужик Гагарин, Гэг, в Донецке торгует угольком, а другой русский мужик Пит Ситников, когда там началась заваруха, вступил в ополчение, дослужился до майора.

— Поздно, майор, ну его на х... — пробормотал Боярский забытую гагаринскую присказку.

Хорошо, никто не видел гуляющую по Интернету запись, как Пит допрашивает пленных «укропов»: те, похоже, не обольщались его культурной речью со всеми «на вы». Друзьям Пита было хорошо известно, что в культурной фазе нужно как можно быстрее приносить ему изысканные извинения, если не хочешь, чтобы внезапно рванулись на волю его боксерские и самбистские звания. А на видео только великоватый камуфляж придавал комической боевитости этому субтильному очкарику да еще черный пистолет, который он брезгливо держал на отлете, словно опасался об него испачкаться. Но стоящие на коленях пленные не сводили глаз именно с пистолета.

Обряжены они были кто во что, словно призывники, старающиеся одеться в то, чего не жалко, их покрытые ссадинами и синяками лица выражали затравленную тоску, все безнадежно повторяли: мы не хотели, нас забросили, за отказ от пяти до восьми лет, — и у Олега не было ни малейших оснований им не верить. Ему хотелось осторожненько потрогать Пита за плечо и сказать: ну, Петруччио, опомнись, ты же хороший мужик, это же люди, пленные!

Наверняка бы он опомнился. Тем более что картинка разворачивалась удивительно нарядная, чистый Ренуар: небесно-синий забор и узорчатые солнечные пятна на нем. Но затем камера съехала в темную лужу стынувшей крови, в которой лицом вниз лежала толстая тетка в задравшемся цветастом халатике, и особенно ужасно было то, что она такая неуклюжая, домашняя, некрасивая... В красивой-то смерти Олег когда-то знал толк, любил падать, раскинув руки...

А Пит, указывая пистолетом на лужу, необыкновенно учтиво обращался к пленным с просьбой опуститься на четвереньки и отведать из этой лужи: «Вы же хотели русской крови? Так вот она, пейте. Что же вы не пьете? Будьте последовательны». Олегу казалось, что они оба с Питом сошли с ума, а Светка вполне по-деловому сокрушалась: «Я ему скажу: Петя, нельзя же так! Они должны вернуться домой нашими друзьями!» Светка уже тогда начала возить в Донецк всякие теплые и не очень теплые вещи, а когда Пита у собственного подъезда снял снайпер, принялась, отплакав положенное, вместе с его вдовой устраивать в ситниковской квартире что-то вроде музея. Она всегда умела переплавлять боль в какое-то дело.

Историю, как и во все времена, творили простаки под предводительством властолюбцев, и тех, кого властолюбцам не удавалось подчинить, они называли соглашателями и конформистами.

— Но Ситников все-таки должен понимать, что Украина — независимое государство... — Бориным языком пыталась овладеть прежняя принципиальность.

— А Югославия не была независимым государством?.. — ни секунды не промедлив, ответно прогудел Мохов.

— Пит погиб, — коротко сказал Олег, и все заткнулись.

Слава богу, пошляков среди них не нашлось — перед лицом смерти заняться лицемерной политической суходрочкой: международное право, суверенитет...

Как будто есть в мире хоть какие-то весы, которым бы не диктовали наши желания: кого не люблю, тот и не прав.

Холодная осенняя взвесь на улице тоже не располагала к разговорам. И даже пройдя под оскаленным бронзовым самураем, наставившим на гостей кривой короткий меч над входом в оккупированный японцами бывший «Манхэттен», никто не проронил ни слова: предупредительно уступая друг другу стулья, все молча расселись вокруг черного, как ситниковский пистолет, круглого стола и погрузились в тридцать шесть видов горы Фудзи на стенах. Этих порядочно облезлых и поседевших мужиков, включая самого стриженного под машинку Олега, уже было никак невозможно назвать рыцарями Круглого стола. И братски обниматься они, кажется, тоже были не склонны — тут бы хоть ускользнуть от скандала: и в их круг вошла История, чтобы делать свое извечное дело — разрушать.

Хорошенькая брюнетка в пилотке из пионерского галстука и в голубой шелковой косухе, проплетенной югендстильными как бы японскими ирисами, умело расставляла общие подносы с разнообразными японскими деликатесами, напоминающими ювелирные изделия, а перед каждым в отдельности — конические, черной глазированной керамические кувшинчики с саке и такой же глазированной тяжеленькие керамические стаканчики. Таким вот саке угощали летчиков-камикадзе перед последним вылетом... *Мы все камикадзе, в юности нас заправляют бензином только в один конец.*

Как бы только не переругаться напоследок, кто прав, кто виноват в драке бомжей перед шалманом.

Напоминать, напоминать о подлинном, о нашем...

— Ну что, парни, выпьем не чокаясь. Помянем нашего друга. Хороший был мужик Пит, только слишком доверчивый.

— Что значит — слишком доверчивый? По-твоему, вообще ничему нельзя верить? — сразу все-таки возбудили два принципиальных мудака — Мохов и Кацо.

Уже на три четверти облезли, а все не поняли, что наши главные враги — старость и смерть. А после них — люди власти, для кого все лозунги только оружие.

— Давайте сначала выпьем.

Саке было очень горячее и душистое, но слабенькое, — такое не помешает угодить в борт авианосца. Правильно его вроде бы называть как-то вроде *нихонсю*.

— А теперь вспомним старину Ремарка. Есть только три вещи, которым можно верить: друг, любимая, кружка рома. Или графинчик саке. Или бутылка «Двойного золотого». А все лозунги общего пользования придумывают люди власти, чтобы дурачить простаков.

Однако и проникновенное имя «Двойного золотого» не растрогало патетических психотиков.

— Слышь, Костя, — прогудел седовласый мосластый мастеровой, обращаясь к старику Хоттабычу в костюме итальянского мафиозо, — ты-то сам понимаешь, что Пита угробили твои америкосы? Что хохлы их марионетки?

— Понимаю, Валя, — сокрушенно ответил Боярский, но угольно черные глаза его пылали сарказмом. — Но нам никак их не удастся подтянуть. Мы, честные еврейские интеллигенты, боремся за права гомосексуалистов, индейцев и китов, но откуда-то на нашу голову свалилась масса нерукопожатного мужичья — всякие реднеки, по-вашему — ватники... И они с чего-то вообразили, что не мы, а они хозяева страны, тоже со своим суконным рылом голосуют, выбирают, воображают себя ответственными за судьбы мировой демократии...

— Но ты понимаешь, что фактически у вас диктатура корпораций?

— При диктатуре демос запугивают, а при демократии дурачат. В этом смысле и у нас, и у вас демократия. Но у нас есть еще и то, о чем вы так плачетесь — настоящая борьба за власть. Она и выносит наверх людей власти, как их называет наш друг Сева. А эти борцы за общее дело не уймутся, пока не сожрут всех себе подобных по всему земному шару — Сева же на этот счет хорошую теорему доказал. При совке мы плакались, что нами правят посредственности, а это, оказывается, был способ отсеять хищников.

Олега лет сто никто не называл Севой, но борцов за правду-х...ду это не растрогало.

— Если американские люди власти остановят российских посредственных уголовников, уже будет хорошо.

На вид обносившийся местечковый сапожник, а как глобально чеканит...

Но и мосластый русский мастеровой во всемирной отзывчивости не отстает, гудит, как жизнь тому назад:

— Россия сегодня последний тормоз глобализации. Без нее бы уже все сожрало это всемирное «купи-продай».

О, м-м-ать их в душу — уголовники, глобализация, х...зация... У них что-то свое, подлинное еще осталось, кроме этой вони?!.

С другими встал бы и откланялся, но это же лучшие в мире друзья, это же Боря Кацо, только облез и подраздуслся, да еще сапожную щеточку под носиком отпустил, это же Иван Крестьянский Сын, только седины пожелтели да синие глаза в глубоких глазницах вылиняли.

Быстрее, быстрее о чем-то подлинном им напомнить!..

— Друзья, давайте все-таки вспомним, что сегодня похороны нашего учителя.

— Антисемита, — Боря окончательно закусил удила.

— А что он гений, это мелочь? — Олег уже испытывал не досаду, а смертельную скуку.

— Не мелочь. Но то, что он был антисемит, тоже не мелочь.

Густо присоленный сединой усталый рикша внимательно смотрел в миску с супом мисо, а старик Хоттабыч переводил огненный взгляд естествоиспытателя с Мохова на Каца и обратно со скрытой усмешкой в серебряной бородке, словно имел в запасе какой-то козырь против них обоих; Олег же больше косился на Мохова, как бы тот чем-нибудь в Борю не запустил. Но Мохов неожиданно обрел мудрую уравновешенность.

— Боря, когда твой пацан с первого раза поступил к нам на факультет, как ты думаешь, кто за него хлопотал?

— Ты. И я очень тебе...

— Да кто бы меня послушал! Я сказал Обломову, а он пошел к председателю приемной комиссии. После этого твоему Илюхе и начали писать «дэ» хвостиком кверху.

— Это что значит? — Боярским владело чисто научное любопытство с легкой примесью сарказма.

— Все поступающие перед экзаменами сдают экзаменационные листки, чтоб никто не знал, Иванов он или Рабинович. А им взамен выдают направление с номером аудитории. И в слове «ауд» тем, кого надо зарубить, «дэ» пишут хвостиком книзу.

И Боря притих, притих...

— За это надо выпить! — щедро объявил Олег, и все налили уже не слишком горячего саке каждый из собственного остывающего конуса.

— Помянем гениального механизатора. Он был способен на широкие жесты. Когда мы с ним посостязались в свисте в приемной у этой паскуды... забыл фамилию, и слава богу... Так мы потом у Обломова в подъезде распили две бутылки бормотухи, чтоб жена не видела. И одну пробку выколотил он кулаком, а другую я... Но у меня-то кулак был мясистый после шабашки, а он, значит, с колхозных времен его сохранил. Это я к чему? Давайте выпьем в его память. Не помня зла, за благо воздадим.

Выпили серьезно и серьезно же помолчали.

Наконец Боярский залихватски пристукнул по черному столу черненьким стаканчиком:

— Раз пошла такая пьянка, так и я нарушу конспирацию. Когда я уже получил разрешение на выезд, я подумал, куда же я там сунусь, в Штатах, кто меня там знает? И сунулся к Обломову: так и так, не напишете ли рекомендацию, вас же весь мир знает — ну, и так далее. И он мне, не отходя от кассы, надиктовал: блестящий молодой ученый, специалист на все руки... Я сразу же переводил, и он тут же подписал, я только руку его навел на нужное место. В принципе я мог бы написать и «Долой советскую власть». Он только попросил, чтобы те, кому я буду показывать, об этом не звонили. Он же по закрытой тематике работает, а тут изменнику родины рекомендацию написал. И никто не раззвонил, только рты открывали: неужели это тот самый грэйт Обломофф?..

История произвела впечатление.

— Понимаете, мужики, — проникновенность вновь вернулась к Олегу, — я только с годами понял, что никто из нас ни про кого ничего не знает. А если бы мы могли взглянуть друг другу в душу, мы бы сразу поняли, что каждый из нас прав. В своей, конечно, картине мира. Так вот, у меня есть идея, но сначала мы должны выпить. А до этого обратить внимание, до чего наша официантка похожа на Галку.

Выпили, обратили и, кажется, наконец-то растрогались. Начали поглядывать на нее с умилением, даже Боря, для которого прежде существовала одна только Фатька.

И худенькая гейша в алой пилотке и черном переднике это почувствовала, начала что-то уносить-приносить еще более грациозно: так подействовало одно только имя Галки — реального-то сходства практически не было.

— Я Галку в зале все время высматривал, — озадаченно сквозь растроганность медленно выговорил Бахыт. — Но так и не увидел, только Баранова разглядел — раньше он косил под Линкольна, теперь под Солженицына. Хотя я их бороды не очень различаю. А Галка же в первые годы Обломову и читала, и печатала, и сопровождала — прямо Анка-пулеметчица... А на похороны не пришла.

— А вообще не знаете, чем она занимается? — в антрацитовых глазах Боярского засветилась грустная нежность — наконец-то живого коснулись. — Она как — замужем, не замужем?

Все почему-то воззрились на Олега, хотя знал он не больше других. Когда История разрушила «Интеграл», Галка пошла работать поварихой в школьную столовую — на шабашке насобачилась, — по крайней мере, не голодала. А насчет замужества — она же лучшие годы на Обломова потратила, хотя задействован ли был кожаный диван в его кабинете, это осталось делом Филиных домыслов. Но Олегу все равно было грустновато, что Обломов увел их любимую сестренку, дочурку полка... Да и сейчас все заметно притихли, хотя никто на нее никаких прав, разумеется, не имел и видов тоже.

Олег не отвечал так долго, что пипл переключился друг на друга и, встряхнувшись, заговорил о чем-то подлинном: о молодости, о шабашке... Кажется, и саке все-таки подействовало.

И Олег наконец-то позволил себе расслабиться и помолчать.

Дождь на улице уже лупасил всюю, а порывы ветра время от времени заплескивали его на окна, так что за этим шумом он не сразу распознал звуки того, что у японцев когда-то считалось музыкой: повертеть скрипучий колодезный ворот, постучать ложкой по столу, уронить кастрюлю, мяукнуть...

Но в этих шумах преобладали завывания ветра то в печной трубе, то в горлышке бутылки, то в собственных ушах, то в снастях шхуны, каким-то чудом заплывшей в бывший «Манхэттен». Заслушавшись, Олег не сразу заметил, что на возвышении, где когда-то по вечерам разорялся эстрадный оркестрик на фоне воображаемых небоскребов, ныне стертых стогами цветущей сакуры, появилась ожившая тюлевая занавеска. Она почти ползла по полу, волоча за собою две довольно длинные линейки, но линейки внезапно развернулись в два больших трепещущих веера, которые, подобно стрекозиным крыльям, начали занавеску распрямлять, превратив ее в гейшу с набеленным личиком, на котором алел карминный ротик и угольно чернели подведенные до висков глаза и брови. И это воздушное создание с маленькой цветочной клумбочкой вместо волос то почти отрывалось от земли стрекозьим трепетом вееров-крылышек, то почти расплывалось по полу, и Олег зачарованно следил за этой борьбой, все больше проникаясь безумной уверенностью, что эта гейша не кто иная, как их маленькая разбойница Галка.

— Мужики, кажется, я рехнулся, — сказал Олег, когда кисейное создание растворилось в сакуре. — Мне показалось, что это Галка.

— Мне тоже так показалось, — Грузо впервые за встречу не скрывал своего изумления.

Иван Крестьянский Сын и Кацо ошалело оглянулись и вновь погрузились в сладостные сточные воды: «Россия братается со всяким отребьем!» — «Сейчас именно отребье определяет, кто отребье, а кто нет. И лучше уж быть на равных с отребьем, чем в шестерках у Америки!» И только Бах, сидевший спиной к эстраде, подскочил как ужаленный, утратив сходство со стареющим рикшей:

— Где, где Галка?.. Где у них гримерная, или как там ее? Раздевалка? Надо позвать менеджера, или как там его? Метрдотеля? Нет, вы уверены? Так что же вы сразу к ней не подошли?

Он подозвал официантку в югендстильной косухе, послужившую первым воплощением Галки, и принялся горячо ее расспрашивать, нельзя ли им пригласить к столу только что выступавшую танцовщицу. Та пообещала узнать, но прежде чем она отправилась в ресторанное закулисье, у их стола появилась сама Галка, отмытая и радостная, однако с налетом некоторой строгости, которой в ней прежде не замечалось. И еще Олеговы глаза сами собой под радостью и строгостью опознали в Галке усталую небогатую тетку. Челка, правда, на ней была прежняя, только рыжая, как разломатившийся конец ржавого троса.

Галка положила им с Бахытом руки на плечи:

— Ну что? Преступников тянет на место преступления?

Она улыбалась, но как-то холодновато.

Они дружно положили ладони на ее руки и поспешили сказать ей что-то комплиментарное, пока она не успела прочесть на их лицах: неужели это она?..

— Потрясающе выглядишь! — выразил изумление Бахыт.

— Больше тридцати пяти никак не дашь! — припечатал Олег, как бы заранее не желая слышать никаких возражений.

Боярский смотрел ошарашенно (никогда его не видели таким), словно не веря собственным глазам, а оба пикейных жилета попросту тарачились, не в силах осмыслить что-то необычное за пределами их родной выгребной ямы.

И только после этого началась вся полагающаяся суета, поцелуи, объятия, новое блюдо с фаршированными чем-то розовым мидиями, новые графинчики, — и лишь когда все наконец расселись, Мохов вспомнил про похоронный митинг:

— Не смогла прийти? — он подсказывал ей ответ, чтобы поскорее вынести ей оправдательный приговор.

— Не захотела. Если уж к живому не ходила...

Все поняли, что эту тему лучше не ворошить, и выпили без лишних слов, а потом Олег поспешил замазать неловкость:

— Мы и не знали, что ты так потрясающе танцуешь!

— А что вы обо мне вообще знали? Как я живу, чем живу?

— Ну и как ты живешь?

— Живу одна, ни от кого не завишу... Вот прямо сейчас и начну рассказывать год за годом.

— Мы как раз перед твоим приходом об этом и говорили, что никто ни о ком ничего самого главного не знает. Мы еще об исторических персонах пытаемся рассуждать, хотя и о том, что рядом, ничего не знаем.

С высоты шведской стенки Олег с удовольствием разглядывал потных, мечущихся, дико вскрикивающих пацанов. Еще вроде бы недавно подойдешь вечером к спортзалу, заглянешь в затянутое сеткой окно, а там старшекласники режут в футбол среди своих — кое-кто с сигаретами, — и вот теперь они сами режутся среди своих пять на пять — кое-кто с сигаретами, — а какой-то семиклашка в эту минуту, быть может, с завистью на них пялится.

Почему-то ключ от спортзала физрук доверял только приближенным пацанам, поэтому вечерний футбол таил в себе нечто залихватское. Особенно если ты завернул сюда мимоходом, да еще и под газом. Стараясь, чтобы это заметили, Олег валял дурака: крутил на перекладине, на брусках, иногда почти срывался, притворяясь сильно дунувшим, и чувствовал, что ему уже начинают прощать его победу на краевой олимпиаде по физике. Даже Кум к нему, кажется, помягчел.

Олег, похоже, уже третью минуту держал угол на перекладине и пьяной улыбкой улыбался пацанам, и они среди своего потного мельтешения и толкотни (броуновское движение) тоже изредка взглядывали на него и улыбались, даже Кум подрагивал уголком губ.

А вот правильный солидный Заяц улыбался снисходительно, но не без ревности. До появления Олега он был в классе лучшим математиком, хотя жил в самом хулиганском районе на просорушке, рос без отца, а мать его торговала пирожками под башенкой драмтеатра. При этом Заяц всегда ходил в солидном пиджачке и любил подчеркивать, какой он бедный, хоть и полноватый, вот и сегодня перед футбиком выпил только бокал компота. Вдруг причмокнет с аппетитом: «Моя матушка картошечку с постным маслицем во готовит!», а когда кто-нибудь подхватит: ага, мол, моя мать тоже, он тут же горько усмехнется: «Ну, так чего ж не готовить, если деньги есть!»

Кум никогда про свою бедность не заикается, хотя и у него мамаша уборщица в поликлинике, а отца как будто и отродясь не бывало. И все равно Кум толстенный, задастенный, с напористым кабаньим загривком, а главное — лучший футболист. Он не просто бьет и водит лучше всех, он еще и соображает, видит поле, — с перекладины особенно заметно, как на него кидаются сразу двое и никогда не могут угадать, вильнет он вправо или влево или пяточкой откинёт мяч назад — всегда точно своему, как будто у него и на белобрисом стриженном загривке имеется еще одна пара недобро приглядывающихся глаз. Любая пятерка начинает выигрывать, если только в капитанах у нее Кум, — он сразу видит, кого куда ставить, где у противника дырка в обороне. Кума на площадке просто не узнать: распоряжается кратко, дельно и почти без мата. Тогда-то у Олега впервые и забрезжила догадка, что есть два совершенно разных ума: один царит в мире выдумок, другой на диво ловко управляется с реальными предметами. Среди квадратных трехчленов или Печориных Кум смотрится почти тупицей, зато за порогом класса он куда смекалистее самого Олега.

И когда он морщится: «Нажрался вчера, какую-то бабу выхарил...», — можно не сомневаться, что так оно и было. Кум никогда не хвастается, ибо выдумки для него ничего не значат. Он играет за город, а там они все подобрались такие орлы, что лучше им не попадаться на глаза, когда они, багровые и потные, вываливают из деревянных ворот «Трудовых резервов». Им там недавно выдали американские «кетты»: Кум сказал, что где-то внутри там есть священные слова «Маде ин УСА»; правда, никто их там не нашел, хотя даже Олег из вежливости сделал вид, будто ищет.

Олег с Кумом в неплохих вроде бы отношениях, но на пьяные выходки Олега Кум лишь дергает углом рта, потому что Олег в его глазах по всем прочим признакам сильно культурный маменькин сынок, которого ждет столичный институт и все такое прочее, а он еще и от Кумовых владений, где пьют и харят, тоже хочет чего-то прихватить. Олег отчасти и поэтому не любит гонять в футбик, ибо ему пришлось бы с Кумом осторожничать, а с осторожничаньем какое удовольствие!

Вот долговязому костлявому Калачу не жалко посмеяться Олеговым штукам, но только расслабленно. Калач и сам из сильно культурных, но недавно открыл, что решительно все человеческие дела достойны смеха, и притом расслабленного: серьезный смех — это тоже чересчур серьезно.

Швед же между пасами взглядывает на Олега исключительно искоса и исподлобья, и на лице его на миг — но лишь на миг! — намечается траурная усмешка. В следующий миг он уже до белизны напрягает ноздри, будто зевает про себя, и резко отворачивается, отбрасывает челку — его излюбленный жест. Когда учителя допекают его этой челкой, он стрижется налысо — нате, мол, съешьте! — и тогда эта привычка выглядит нервным тиком. Свое шведское происхождение он ведет с какого-то хоккейного чемпионата — он так носился со шведской командой, пока сам не превратился в Шведа.

Швед в недалеком прошлом — любимец учителей, ржаная голова, васильковые глаза, с хитроватым, правда, прищуром, которым советское кино наделяло кулаков, но недавно химичка мстительно сообщила ему: «Теперь твоим улыбочкам не все бу-

дет прощаться». А он на это только напряг ноздри и отбросил челку. Он с некоторых пор решил лепить из себя человека крайне щепетильного в вопросах чести и вспыльчивого до необузданности — то есть психа. Именно с той поры он и заделался с Кумом не разлей вода. А остальные пацаны сделались с ним поосторожнее, не желая испытывать, как далеко он может зайти в своей новоиспеченной горячности.

Все это проносилось в голове у Олега, пока нарастающая судорога в брюшном прессе не сделалась невыносимой, и ему пришлось спрыгнуть на плоский кирзовый мат.

О таких изысканностях, как душ, в ту чистую пору еще не слыхивали. В раздевалке Кум отдал пару распоряжений насчет следующего футбика и, по-кабани напористо склонив голову, двинулся к своему шкафчику, усиленно прихлопывая американскими кетями, как будто проверял, не начал ли снова брэнчать паркет, — он долго брэнчал, словно осипший рояль, пока его наконец не прихватили гвоздями.

Вот тут все и произошло.

Вполголоса ругнулся Заяц. Ругнулся как-то так, что ждешь продолжения, и все выжидательно на него посмотрели.

— Рубль потерялся, — объяснил Заяц с пиджачком в руке и зачем-то помял его.

А когда все уже смирились с Заячьей потерей, вдруг оживился Кум:

— Не? Ты? Точно? У тебя точно рваный был? В брючатах, в костюме смотрел?

— Везде смотрел. Матушка сказала, зайди за маргарином, я положил в костюм...

Кум не дослушал — он уже распоряжался, как на ответственной игре.

— Так, все остаются. Кто выходил в раздевалку?

Все взглянули на Шведа и тут же отвели глаза. На хорошеньком личике Шведа отразилось колебание — он соображал, как в таких случаях должен поступать псих. А через мгновение ноздри его побелели, как будто он сдерживал зевоту.

— Ты видел — я брал?! А ты видел?! А ты?! А ты?!

Он переводил мутный взор и тыкал пальцем то в одного, то в другого пацана, избегая только Кума, и в его голосе нарастало блатное подвыванье, — вот сейчас, сейчас он распустит рубаху до пупа и...

— Ну, общите, общите, говорю!..

Швед был уже белый, как его ноздри, и все, только что багровые, тоже потихоньку бледнели, не поднимая глаз. Больше, правда, от неловкости.

Зато Кум был как рыба в воде. Он шагнул вперед и принялся расторопно обыскивать Шведа.

Все прибалдели, и всех менее — надо отдать ему должное — Швед. После самого мимолетного замешательства он вытянул сцепленные руки над головой, придавая картине завершенность.

Кум, однако, таких тонкостей просто не замечал. Он обыскивал не напоказ — хотел-де, вот и получи — нет, он просто искал рваный. Искал довольно умело — шарил в карманах, ощупывал носки, вынимал стельки...

Рубля не было. Кум еще раз для очистки совести пробежался по Шведу и сдался.

Швед, ни на кого не глядя, запихал барахло в сумку и ушел в тренировочном, изо всей силы хлопнув дверью.

Все, вновь побагровевшие, не знали, куда девать глаза, и только Кум, от которого аристократический смысл сцены был скрыт мраком невежества, продолжал тарыхтеть:

— Швед не дурней трактора — прятать на себе, тут в раздевалке можно занюхать, а завтра по утрянке забежать, и дело в шляпе, хрен на шкапе... Я сразу догадался, когда он раздухарился...

Его размысленный никто не поддержал, все по-быстрому разбежались, стараясь не смотреть друг на друга. И только Калач у дверей расслабленно продышал Олегу в ухо:

— Ты слышал? Швед сказал Куму: еще друг называется...X! X! X!..

Друг — это уморительно. Со смеху подохнешь. Если смеяться всерьез. А посмеяться расслабленно, это в самый раз.

И Олег тоже изобразил расслабленную усмешку половиной лица, обращенной к Калачу. Ну не может он иначе, когда к нему с доверием!

Хотя ему было совсем не до смеха. Он брел по мокрой осенней улице, не замечая ни осени, ни прохожих, и думал с таким напряжением, с каким не вдумывался ни в одну задачу из мира выдумок.

Какого же черта Швед напрашивался на обыск, если его никто прямо не обвинял? Это ведь именно воры считают кражу у своих верхом позора — как же, крыса, крысятничать!.. Хотя лучше, например, обокрасть человека, чем его унижить, но воры больше всего любят барахло, вот они больше всего барахло и защищают. Швед у них и набрался.

Но если и вправду набрался, как тогда он смог стянуть ту проклятую авторучку?.. Олегу ее привез из Ленинграда двоюродный брат, и они всем классом на нее любовались: в прозрачном корпусе светилась девица, сначала одетая, а перевернешь — раздетая. Любоваться пришлось недолго — авторучка куда-то пропала, и Олег и думать про нее забыл. А потом случайно оказался у Шведа дома, начал от нечего делать выдвигать ящики его стола и обнаружил ту самую девицу.

Он тогда поспешно захлопнул ящик, словно увидел раздетую красотку живьем, и тут же задвинул соответствующий ящик в своей памяти. Сохранилась только жалость к Шведу: правильно это раньше называли — нечистый попутал. Не ты украл, а нечистый тобою овладел.

Но сам-то Швед стыренную авторучку забыть не мог, что же он из себя строил, будто не способен тырить у своих? Притом не прикидывался, у него реально слезы стояли в глазах...

Для него, выходит, не важно, способен он украсть или нет, а важно, решаются ли ему об этом сказать в глаза! Раз решаются, значит, не боятся, а раз не боятся, значит, не уважают.

Так вот что она такое, блатная честь, — умение внушать страх, чтоб никто не смел сказать тебе правду в лицо!

Олег почувствовал такое удовлетворение, словно доказал самостоятельно труднейшую теорему.

Вторая же часть теоремы открылась ему лишь двадцать лет спустя.

— Это к тебе, — заглянула мама. — Говорит, твой одноклассник.

Удивления в ее голосе прозвучало ничуть не больше, чем наметилось забулдыжности в подобрюгшей физиономии Кума.

— Кого я вижу?.. — радостно поднялся ему навстречу Олег, но Кум не стал разводить сантименты.

Он бегло тиснул Олегу руку и, усевшись без приглашения, все такой же кругленький, задастенький, с такой же белобрысой напористой челочкой, перешел к делу (хабэшные отечественные джинсы обтянулись на могучих жирных ляжках, — Кум об натянутые на согнутой ноге штаны когда-то умел зажигать спички).

— Дашь треху без отдачи? Ты ж к нам ненадолго, родичей приехал навестить?

Олег поспешил вручить ему треху, стараясь не впадать в суетливость. Кум принял ее без суетливости, небрежно сунув в нагрудный карман пестрой безрукавки, кои в пору их юности именовались расписухами.

— У тебя ж не последняя, ты же вроде доцент?

— Старший научный сотрудник.

— А Швед базарил, что ты кандидат наук — это не то же самое, что доцент?

— Доцент — это преподаватель.

— Швед теперь директор ресторана, больше любого доцента, наверно, гребет.

— Наверно.

— Я, когда играл в классе «Бэ», огребал рублей по семьсот в месяц. Числился механиком на камвольном комбинате, и все время куда-нибудь еще вызовут и за что-нибудь заплатят — то за малярные работы, то за погрузку... А потом мы отовсюду вылетели, в последнее время на стройке пахал... Месяц назад плита косо пошла, пришлось прыгать, сломал правую ногу в голени... На поле сколько били — не сломали, а тут

всего второй этаж... Вышел из больнички, хотел у Шведа бабок стрелкнуть — не дал, запомнил, как я его обшмонал.

Кум упомянул об этом без осуждения: он хорошо понимал Шведа.

— Слушай... — Олег вдруг забыл настоящее имя Кума. — Как ты думаешь, кто тогда взял рубль у Зайца? Или Заяц сам его посеял?

— Чего мне думать — я и взял.

Кум произнес это не просто «просто», а даже с юмористическим превосходством — как-де я вас всех наколол.

— Как это?.. Зачем?..

— Правильным пацанам на бухло не хватает, а этот терпила надумал бабки на маргарин выбрасывать! Непорядок.

— А когда же ты успел? Ты же вроде из зала не выходил?

— Я еще до игры. Пока вы мои кеты разглядывали. Ловкость рук, мошенство глаза.

Кум явно гордился собой.

— Но правильные пацаны вроде бы у своих не берут?..

— Терпила нам не свои. А у Зайца на лбу было написано «терпила», когда он еще только из мамкиной писки вылез.

— А сейчас не знаешь, Заяц чем занимается?

— Пашет, наверно, где-то. На что он еще годится. Как, правда, и я. Что значит совок — в Америке бы я на всю оставшуюся жизнь заработал! Да и ты бы с твоей головой в Штатах не столько бы получал.

Годы и неудачи смягчили Кума, он уже был согласен к примирению ног с головой, вещей с выдумками.

— А Швед — он, что ли, тоже терпила?

— Швед по натуре барыга, а лез в блатные. Это ему была наука.

Олегу тоже. Всюду, оказывается, жизнь, всюду наука.

Но у теоремы оказалась и третья часть. Уже назавтра позвонил Швед и тоже без сантиментов сразу взял быка за рога.

— У тебя Кум вчера был? Что, жаловался на меня? Что я барыга и все такое?

— Ну, так...

— Так пусть он себе спасибо скажет. Если бы он меня тогда не обшмонал, я бы и дальше с его компашкой шился. И загремел бы на нары, а сейчас тоже на стройке бы горбатился, скорее всего. Так что я ему при каждой встрече спасибо говорю.

— А все-таки как думаешь, куда зайцевский рубль делся?

— Как куда — Кум его и скоммуниздил.

— Откуда ты... Почему ты так думаешь?

— Чего мне думать — я видел. Пока вы на китайских кетах фирмовый лейбл искали, я незаметно в окно поглядывал, а там в стекле все как в зеркале.

— Почему же ты не сказал?..

— А потом что, из города ноги делать? Кум со своей шоблой мне бы дыхнуть не дали, они же, блатные, хуже обэхээс. Ну, ничего, я свое взял! Теперь трехи у меня клянчат!

Даже у такой простенькой историйки оказалось третье дно. А мы еще воображаем, что можно что-то понимать в Истории человечества!

— Олег, Олег, очнись!

Господи, откуда здесь Галка?

— Так ты и сейчас среди разговора можешь заснуть?

Наконец-то в ее голосе послышалась настоящая теплота.

— Наоборот, я только во внутреннем мире и бодрствую. Я как раз и хотел, чтобы каждый рассказал о себе изнутри. Не в виде дурацкой «правды» — все равно всей правды никто не скажет, да ее и не знает. Нет, пусть каждый расскажет о себе какую-то сказку, какую про него мог бы сочинить тот, кто его ужасно любит. И во всем старается оправдать.

— Не очень понятно, — строго прогудел Мохов. — Так что, можно прямо врать?
— В сказках вранья не бывает. В «Левше» атаман Платов пьет водку-кислярку и в бурку заворачивается — это не вранье, а сказка, легенда. Я понял, мне надо первому начать, дать вам урок мастерства. Самое главное, когда я буду говорить «я», это будет художественный образ, а не я реальный, жалкая ничтожная личность. Я подзреваю, все реальные личности в той или иной степени жалкие и ничтожные, так пусть каждый из нас и вылепит из себя художественный образ. Чтобы мы поняли, как его надо любить и жалеть. И до какой степени он во всем прав. Ну что, возражений нет? Тогда поехали. Расслабьтесь, не задумывайтесь, правда это или нет — это неправда. Но я хочу, чтобы меня таким видели. А значит, в глубине души я и сам себя таким вижу.

Итак, стояли мы под Ахалцихом, начал Эн Эн и закурил трубку...

Я вырос в большом городе, где был театр и краеведческий музей. В театр нас водили на «Кремлевские куранты», а в музей на чернильницу Свердлова, но царил над городом завод. Ради завода город и разрастался и превращал окрестные деревни в заводские окраины, а деревенских пацанов в городских гопников. Для которых было выйти без финки за голенищем так же немислимо, как когда-то дворянину без шпаги. Завод был флагманом советской промышленности, а значит, военным заводом. Пикейные мыслители уже лет двести ломают голову, отчего в России никак не приживется демократия, хренократия и прочие пряники, но я-то давно понял, что нашу жизнь определяют войны. Войны порождают и диктатуру, и культ храбрости, и культ гопничества. Нас учили по приказу начальства быть храбрыми, а в остальное время трусливыми, но мы-то понимали, что храбрость — она везде храбрость. Восхищаешься красным конником, значит, восхищайся и красным гопником. А гопники были все без исключения красными, в кино болели исключительно за наших. Только в последние мои школьные годы наметился некий декаданс — эти русские катоны начали косить под штатников. Ковбои, куклуксклановцы, гангстеры — лихие ребята, которые никому не спустят. А у нас воспевалась только разрешенная храбрость, — тьфу!

И я рядом с этими героями ужасно страдал от своей трусости. Мне никак не давалось врезать, вмазать, оттянуть, отпинать весело, играючи, с огоньком. Даже когда другие, настоящие герои это делали, я испытывал только ужас и тошноту. Чтобы вступить в драку, мне требовалось сначала две ночи не спать, написать завещание, а потом идти, как на казнь. Да для меня это и была казнь — шел, как придуманный мною когда-то народоволец на царевубийство, — чтоб поскорей отмучиться. Прошли чуть ли не десятилетия, прежде чем я сообразил, что когда нужно было залезть на подъемный кран, откуда-то прыгнуть, куда-то нырнуть, я был не только не трусливей, а, пожалуй, и похрабрее прочих. Не сосчитать, сколько раз я рисковал жизнью просто так, для красоты. И увечился иной раз куда как посерьезнее, чем в любой драке. До меня слишком поздно дошло, что ужас мне внушает не возможность увечья — она меня только мобилизует, а злоба и жестокость. Я не понимал причин своего страха и ощущал себя маленьким и жалким.

Я до такой степени не переносил никакого недовольства, что если кто-то в дружеской компании мрачно молчал, то я начинал перед ним лебезить, только бы он сменил гнев на милость, позволил мне передохнуть в мирке, где все хотя бы делают вид, что друг друга любят.

Пожалуйста, не смотрите на меня так и не потупливайте взор, все это не я, а художественный образ. Ему и сочувствуйте или презирайте. Но лучше, конечно, сочувствуйте.

В общем, я долго страдал, оттого что я такая мелкая личность, но постепенно я нащупал ту область, где я мог бы сделаться большим. Это была История. И не какая-нибудь рядовая историйка, а История с самой что ни на есть большой буквы. Я чувствовал, что в борьбе, например, с фашизмом я бы не струсил. Напоминаю

еще раз, что все это не я, а художественный образ. Я мечтал, чтобы в Америке фашисты подняли мятеж, а я бы поехал с ними сражаться, как когда-то ехали в Испанию. Но меня влекла и всякая другая возможность проявить мужество, лишь бы в этом не было злобы и подлости. И начальства, по крайней мере, нашего родного — уж больно оно было лживое и скучное. Так что Аляска, Джек Лондон — это тоже было кое-что, пока нет настоящего исторического дела.

Историческим делом для меня стала проблема Легара. Если бы я ее решил, я бы точно остался в Истории. Кстати, ее лет десять назад добились японцы. Добили очень скучно, с применением компьютеров, рассмотрели тридцать пять тысяч подслушаев, без всякой общей идеи... Превратили гениальную гипотезу в счетоводческое занудство — нет, это что-то не русская храбрость, как выражался другой художественный образ — Печорин.

Но это реплика в сторону. А тогда мне пофартило встретить хулиганистого механизатора, из-за дурацкой выходки оставшегося без глаз. Хотел пугануть председателя колхоза ржавой гранатой, а она возьми да и взорвись в воздухе. И пришлось ему по этой причине сделаться не директором машинно-тракторной станции, а великим ученым, да еще и оборонным боссом.

Прошу, прощения за американизм — воротилой.

Он-то был точно исторической личностью, и все, кто с ним работал, вся его команда, стало быть, тоже автоматически становились творцами истории. Оставь проблему Легара и ступай за мной, сказал мне колхозный гений — напоминаю, что и он тоже не реальная личность, а художественный образ. Сказочный даже. Как атаман Платов.

И этот атаман Платов для начала отправил меня в экономику, которой я сперва брезговал, а потом относительно преуспел. Меня до сих пор подкармливает теорема о властолюбце, ее иногда называют и теоремой о хищнике или теоремой о разрушителе. Ее развивают и в сторону оптимизма, и в сторону пессимизма. При каких-то условиях получается, что созидатели могут нейтрализовать хищников, при каких-то одного властолюбца оказывается достаточно, чтобы всех превратить в хищников, — конца не видать. И каждый раз меня вводят в оргкомитет, оплачивают дорогу в какую-нибудь приятную страну, обсуждают со мной равновесие по Евсееву, хоть я и разбираюсь в этом не лучше прочих. Пожалуй, и похуже, без меня там много чего наворотили, но им почему-то важно, чтобы изображал внушительный вид именно основоположник.

В этом смысле великий механизатор до некоторой степени обеспечил мою старость. Но ощущаю ли я это как участие в Истории с самой что ни на есть большой буквы? Нет, это всего лишь история крошечной, хотя и очень живучей секты искаателей истины. А Историю с большой буквы творят властолюбцы, использующие простаков, творят маньяки, заражающие своим бредом истериков.

Рукотворную, так сказать, творят историю. А Историю нерукотворную творят бессмысленные громадные массы, порождающие гравитационные поля. Вам этот образ от меня уже знаком: если к населенной планете приблизится другое светило, его гравитационное поле начнет все реки и водопады отклонять в его сторону. А если его масса совсем уж громадна, то и реки, и самый воздух потекут к нему, оно высосет и опустошит планету и этого даже не заметит.

Еще недавно таким светилом для соседей была и Россия, ее гравитационное поле притягивало многие умы, но с недавних пор у американского поля не осталось соперников. Америку то восхваляют, то обличают за одно, за другое, за десятое — то она защищает мир от тиранов, то она сама главный тиран, — и каждый прав внутри своей сказки. Но все, что она делает сознательно под влиянием своих властолюбцев и хищников — творят Историю они, это нормально, — так все их фортели сущие семечки в сравнении с тем, что Америка делает бессознательно. Просто своим существованием и могуществом. В каждой стране одни умы продолжают притягиваться к собственной земле, а других влечет к себе новое солнце. И страна раз-

рывается на части внутри собственных границ. А если части слабо между собой перемешаны, то разрываются и границы, начинаются войны. На одной такой войне погиб наш друг Пит — разумеется, я имею в виду художественный образ. А моя жена — вы все ее знаете: чистейший, то есть доверчивейший, человечище — так она сотворила этот образ таким прекрасным и возвышенным, что сама теперь на него молится. Месяцами торчит в Донецке, пытается там создать музей всех погибших. Именно всех, а не только самых заметных. Собирает их фотографии, воспоминания, памятные вещи и надеется построить нечто вроде израильского музея, забыл название, где поминаются именно все без разбора. Ее тоже позвала История, повелела ей: оставь мужа и сына и иди за мной.

Так гравитационное поле Америки разрушило мой дом, о чем виновница уж точно не подозревает. А до этого она точно так же разрушила наш «Интеграл», чего ее хищники, возможно, и желали, но сознательно бы у них ничего не получилось. Зато когда их поле незаметным образом развернуло наши умы, множество собственных наших дел многим из нас показались каким-то отстоем. И даже наш великий учитель остался не у дел.

Конечно, заниматься чистой наукой он мог бы по-прежнему, но ему это было скучно, он хотел творить великие дела. То одно, то другое, то пятое, то десятое — и все такие грандиозные, что рот разинешь. И никогда не угадаешь, что ему придет в голову. Сегодня искусственные спутники, завтра животноводство, послезавтра водородное топливо, послепослезавтра ядерные реакторы, послепослепосле еще что-то потрясающее. И каждый раз все продумано до невероятных подробностей, эрудиция у него была фантастическая. И я за каждый прожект брался с величайшим воодушевлением — вот поистине историческое дело! Мы что-то изучали, доходили до вполне приличного уровня, печатали статьи, а то и коллективные монографии — основные идеи всюду закладывал он. Начинались какие-то командировки, отыскивались могучие партнеры, очень большие начальники, выносились постановления правительства... А потом как-то все само собой слабело, затихало, а с годами и вообще рассасывалось. И сегодня я окидываю свою жизнь, когда я шел на зов Истории вслед нашему учителю, и вижу, что все свои мечты и дарования я пустил по ветру, по гравитационным полям, которые творил мой кумир. Последнее, что он мне предлагал, — обучать палестинцев. Они учатся в Европах и платят столько-то, а мы будем брать с них по столько-то да еще и обеспечивать общежитием. И все цифры от зубов отскакивали, он по этой части мог бы в цирке выступать, он помнил цены на водку лет за сто, цены на кадушки, цены на золото до революции и после, и про палестинцев он тоже все знал. Очень мы про них плодотворно поговорили, и больше он их никогда не вспоминал. Умоляю, не спешите возражать, это только сказка! Каждому будет дана возможность возразить другой сказкой. Я говорю не о нашем реальном учителе, ибо понятия не имею, какой он был в реальности. Мы ни о ком не имеем понятия, я говорю только о художественном образе.

И я на его тризне — образа, образа! — теперь никак не могу взять в толк, на черта ему все это сдалось при его нечеловеческом умище? Враги обвиняли его в карьризме. Но я-то знаю, что он этими авантюрами наживал больше неприятностей, чем выгод. И теперь я думаю, что в глубине души он так и оставался хулиганистым пацаном. Как любил он дурачить начальство, так это и оставалось самым любимым его занятием. Как когда-то привязал он парторгу к хлястику надутый гондон, так он потом и навязывал министрам и маршалам такие же пузыри. И в итоге я всю жизнь прослужил чужому озорству. В последние годы я это почувствовал, и он тоже сразу это почувствовал, ни к чему великому больше меня не привлекал. И я теперь желаю только как-нибудь дожить на обочине Истории, достаточно она вокруг меня и во мне перекуришила. Любые лозунги общего пользования вызывают у меня тошноту. Теперь я не желаю ни с кем шагать в ногу, а делать только то, что лично мне нравится, служить только тому, что лично я люблю.

А люблю я в России только ее гениев. Если она перестанет поставлять их миру — а она уже почти перестала, то она мне будет не более интересна, чем какая-нибудь

Голландия. Пожалуй, единственная национальная идея, которую бы я поддержал, это производство гениев. Вот для потенциальных гениев я и стараюсь создавать хотя бы микроскопическое гравитационное поле. Чтоб хоть что-то вытягивало их из серости помимо потери глаз.

Среди ученого люда попадают две полярные породы. Один все схватывает на лету, излагает так, что и дураку ясно, а другой что-то бубнит, голову сломаешь, пока поймешь. Но этот лапоть, этот валенок, ватник делает открытие, которое не дается щеголю. Потому что у валенка есть какое-то внутреннее гравитационное поле, которое тянет его мысль в нужную сторону. Я и пытаюсь нашарить, какими же такими полями обладают гении. Мне ужасно повезло с начальником, это мой однокурсник, с которым мы когда-то были на шабашке. На редкость верный старой дружбе. Мохов, не красней, не красней, это не ты, а художественный образ. Так этот художественный образ позволяет моему художественному образу заниматься психологической физикой, психологической математикой — доискиваться, какие скрытые психологические мотивы лежат в основе научных теорий. Иногда это бывает просто опыт нашего тела: учась ходить, мы открываем законы равновесия. Если бы нашим единственным органом чувств было обоняние, не могло бы возникнуть понятие числа, если бы на земле не было жидкостей, не возникла бы квантовая механика — ну, я уже начинаю читать лекцию. Кое-кто из студентов действительно начинает лучше соображать — для них я и стараюсь. Иногда статьи, книжки на эту тему публикую, кое-какие и подражатели завелись — таким вот хобби под старость лет я обзавелся.

Примерно так. Жили-были два гуся — вот и сказка вся.

Теперь судите. Но только про себя, сегодня каждый говорит только о себе.

— Что ж вы, черти, приуныли?

Деланная бодрость, однако, не смысла неловкости.

— Хотя мы же на тризне. Ну, так выпьем за упокой нашей молодости.

Никто выпить не поспешил. Все смотрели в черноту стола, но, казалось, ждали продолжения.

— А почему ты про сына ничего не рассказываешь? — после затянувшейся паузы сурово, но сострадательно спросила прежняя Галка, наконец-то проглянувшая из-под ржавой челки.

— Это слишком интимно. Но если зрительская масса требует...

Погода за окном разбушевалась так, что ему пришлось немного напрячь голос. Что-то где-то уже громыхало, а окна заливало, словно из шланга.

Сказочка проста и прозрачна, как слезинка ребенка. У юных супругов, зацепившихся за научную вершину в пригородном бараке, родился маленький ангел, ясноглазый и златовласый. С трех месяцев своим ангельским голоском он уже выпевал любую мелодию, с пяти лет на память читал стихи, и у него перехватывало его нежное горлышко, когда с героями книг случалось что-то страшное. Ему прекрасно давалось все, а больше всего он любил читать и слушать музыку. Но чем старше он становился и чем больше узнавал жизнь, тем меньше она ему нравилась — уж очень много в ней жестокого и подлого. Понемногу и читать ему стало слишком больно, потому что и в книгах все-таки была она, жизнь. И он все больше и больше уходил в музыку, пока она не поглотила его окончательно. Однажды утром отец и мать попытались войти к нему в комнату, а музыка их не пустила — с тех пор она так и отталкивает всякого, кто пытается к нему войти.

— Вот, собственно, и все.

Чтобы не поднимать глаз, Олег придвинул к себе початое блюдо с фаршированными мидиями и принялся выдавливать на них четвертушку лимона, а лимонный сок внезапно брызнул ему в глаза. Он попытался проморгаться, но кислота была такая едкая, что пришлось как можно быстрее подняться и устремиться в туалет с залитым слезами лицом. Было до ужаса неловко, но другого выхода не оставалось.

Коридор к сортиру какой-то эстет отделал сплошным зеркалом, и Олег несколько раз вместо реальных поворотов пытался ткнуться в их отражения. Когда-то в едва живые в памяти времена в их детской компании очень уважалась Лидка, умевшая придумывать сказки, которые они готовы были слушать хоть целый день. И когда Лидка повествовала о какой-нибудь замарашке, сделавшейся принцессой, она выговаривала растроганно: «Платье у нее было из тюля, а стены зеркальные», — ничего более роскошного она вообразить не могла. Вот сегодняшняя тризна и принесла и тюль, и зеркала.

Долго плескал водой в глаза, потом осторожно промокал носовым платком, но избавиться от красноты так и не удалось, пришлось выходить к народу с заплаканными глазами.

Проходя мимо застекленной двери, увидел, что погода окончательно взбесилась — это был какой-то водный буран, буря мглою небо кроет, вихри водные крутя, вздумайся им прежней компашкой отлить узким кружком, никто бы не заметил. Если природа решила оплакать Обломова, то она явно перестаралась — страшно было подумать, что творится на Никольском кладбище, где вроде бы как раз должны были предавать земле брэнную плоть Обломова в шаговой доступности от могилы Эйлера, единственного из коллег, чье превосходство он признавал.

Зато за круглым столом царил почти переслаженная доброжелательность, словно в соседстве с ложем смертельно больного: вспомнили наконец о подлинном, а ничего подлиннее боли, даже чужой, не существует. Соседи Олега, Мохов и Боря, не сговариваясь, с двух сторон, будто инвалиду, подвинули ему стул. Олег старался ни на кого не смотреть, сосредоточившись на цветущей сакуре, но, усаживаясь, все-таки поймал Галкин взгляд из-под рыжей челки, — ее глаза были полны сострадания и материнской нежности — жизнь тому назад он иногда ловил на себе такие ее взгляды.

— Ну, кто следующий? Теперь уж не отсиживайтесь. А то оставите Фердыщенко в дураках...

Олег ерничал, но в груди нарастала тревога: неужели не поддержат?..

Краем глаза он видел, как Боря рисует на черном столе какие-то узоры подрабукшим пальчиком-сосисочкой, — примерно так же он что-то чертил в общаге перед тем, как спланировать с третьего этажа на раме. И здесь тоже внезапно вскинул свою седеющую сапожную щеточку:

— Я готов.

Помните в «Родной речи» картинку «Дети, бегущие от грозы»? Это были мои родители. Гроза разразилась не над ними, но они всю жизнь ждали, что она вот-вот догонит. О ней в нашем доме только шушукались, чтоб не подслушали враги, и все равно не могли ее забыть и заняться чем-то, как теперь выражаются, позитивным. Постоянно обсуждалось, кого в сорок девятом году посадили, кого в пятьдесят втором только уволили, а что в пятьдесят третьем всех спасла только смерть фараона, в этом никто не сомневался. Спорили только, готовился ли окончательный геноцид или всего лишь каторга.

Но что взять с пришибленных провинциальных совслужаей! У меня был в Ленинграде дядя-профессор с седой бородкой, как у Кота... Как у какого Кота? Вы что, забыли, мы Боярского звали Котом. Костя — Кот... Так и дядя все эти кошмары охотно обсасывал, только с улыбочкой: «В России Освенцим не нужен, доста-

точно всех вывезти в тайгу». Вроде бы в нашем поколении о тайге речь уже не шла, но раскаты они все время слышали: тут Додика не взяли в аспирантуру, там Сарочку не взяли в консерваторию...

И я долго не понимал, почему это шушуканье меня так раздражает, хоть я и сам такой же Додик. Понял только через много лет, когда было уже поздно: они заставляют меня снова и снова ощущать себя побежденным. Которому остается только брюзжать да злословить о победителях. А нет ничего разрушительнее, чем беспомощность. Надо хоть в концлагере найти уголок, где можешь забыть о конвойных. А мы только про них и говорили.

Я лишь в институте узнал, что сажали и расстреливали не одних евреев, и щедро включил и всех прочих в свой поминальник. Кому-то в те времена не хватало колбасы, кому-то Ахматовой, а меня возмущало, что власть запрещает оплакивать тех, кого сама же и уничтожила. Я понимал, конечно, что уничтожали начальники другого поколения, но раз нынешние их покрывают, значит, и они такие же. На оплакиваниях мы и сошлись с моей прекрасной черкешенкой. Я оплакивал жертвы тридцать седьмого и сорок девятого годов — тысяча девятьсот, конечно, а она — жертвы тысяча восемьсот шестьдесят третьего, кажется, года. Тогда русские переселяли черкесов на «плоскость», выдавливали в Турцию, и погибло жуткое дело сколько народу — от голода, от болезней... Обычный российский бардак. И Фатиме было еще обиднее, что про них вообще никто не вспоминает, я один ей сочувствовал. Я даже разузнавал имена каких-то баронов и князей, которые этим занимались, и она мне была страшно благодарна. Можно сказать, она меня за муки полюбила, за муки своих предков, которым я один сострадал. В этом мы и сливались душами — она оплакивала моих предков, а я ее.

Так в этом упоительном оплакивании мы и произвели на свет нашего чернокудрого ангелочка. Он тоже с трех месяцев выпевал любую мелодию, с пяти читал стихи, и горлышко у него перехватывало в нужных местах — мы были в восторге от его чувствительности. Однажды перед сном, когда он уже мог понимать, я рассказал ему о судьбе Мандельштама. Он слушал, распахнув свои черные глазищи, готовый фаюмский портрет. А потом я пожелал ему спокойной ночи и выключил свет. И услышал из-за двери какое-то тоненькое скуление, как будто щенок потерялся. Я подумал, что Илюха откуда-то бродячего щенка приволок, это было на него похоже. Я вернулся, хотел его отругать, еще наберется заразы, и вижу, что он смотрит на меня своими фаюмскими заплаканными глазищами и тоненько-тоненько плачет. Что случилось? — испугался я. Мандельштама жалко, еле-еле выговорил он, и я ушел от него, переполненный гордостью: растет соратник по общему делу — по оплакиванию!

Между делом Илюха закончил институт — оказывается, нужно было Обломова благодарить, не знал... Мы с Фатимой были уверены, что Илюшку в армии прикончат... Пусть Обломову это зачтется на Страшном суде... После института Илья за Питер цепляться не стал, у него там никаких связей не возникло. Фатиму беспокоило, почему у него нет девушки, а он с мукой в голосе говорил, что им плевать на Мандельштама. Из воспитанности еще делают грустный вид, но тут же начинают говорить о другом, смеяться...

При этом девушки на него заглядывались, несмотря на его исхудалость: огромные черные глаза, тяжелые кудри, черкесский профиль... Я его устроил к нам на завод в отдел технического контроля. Работа рутинная, для техника, но было уже не до жиру. Фатиму сократили, но гальванический цех, худо-бедно, работал. А я там был главный специалист.

Зато дело нашей жизни оставалось при нас. У нас появились почти неиссякаемые возможности оплакивать все новые и новые жертвы, потому что Россия и Украина — а мы, напоминаю, жили в Кременчуге — старались раскопать их как можно больше, чтобы повесить их друг на друга. Получалось, что мертвыми интересуются только для того, чтобы колоть глаза живым. Нас с Фатимой это просто возмущало,

а Илья прямо-таки иссыхал. И в конце концов мы уехали только потому, что нам сделалось за него страшно.

Об эмигрантских мытарствах рассказывать не буду, получится нехудожественно, но в конце концов все наладилось. Фатиму взяли мыть котлы в школу, я устроился, можно сказать, по специальности, в захудалую гальваническую мастерскую в гофрированном жестяном сарае. Что-то хромируем, что-то никелируем — как в Кременчуге. Только там это был заводской цех, а я был главный технолог, а тут я сам стою у корыта с электролитом. Корыто древнее, на таком, наверно, сам Якоби экспериментировал, защиты никакой нет, дышишь кислотами со щелочами, халат весь прожжен, целый день на ногах в резиновых сапогах, хозяин горластый, на еврея не похож, все время подкалывает: наш инженер...

В Кременчуге я бы решил, что он кавказец. Но про кавказцев Фатиме слова сказать не смей. А заодно и про палестинцев — она нашла, что они похожи на черкесов, теперь она им сочувствует. Я уже помалкиваю, хватит с меня Илюшки. Ему страшно повезло: попал снова на технический контроль. В Израиле нет своей металлургии, он и проверяет поставки на предмет брака. Все, как у нас, только спектроscopy малость другие.

В общем, если о себе много не воображать, концы с концами сводить было можно. Но вдруг крошка сын ко мне пришел с вопросом: а чем здесь лучше, чем в Кременчуге? Вот лично тебе чем лучше? Я отвечаю, как положено: «Здесь я свободен!» — «Прикован к корыту и свободен?» — «Хорошо, здесь я наконец-то такой же, как все». — «А что, это такая большая радость быть таким, как все? Да и не такие мы, как все, а похуже. И твой хозяин это понимает. Только в отличие от нас не притворяется, не изображает равенство и братство. А дома мы были лучше других. Мы были интеллигенцией, скорбели по убитым и замученным».

Он так и сказал: скорбели. «Но здесь скорбью занимается государство...» — «Правильно, минута скорби, а потом снова дела и развлечения. Но когда погибает человек, которого любишь, это же другое, минутой не отделаешься. Здесь Мандельштама вообще никто не знает, мне кажется, мы его предали. Нет, я уже понял: люди хотят радоваться, это нормально. Убитых хоронят, а на могилах вырастает трава. Народ — это трава. Но мы-то, интеллигенция, должны быть памятью. Должны быть болью».

Надо было слышать, каким голосом, с каким лицом он это говорил: щеки белые, ввалившиеся, черная борода просвечивает... И тут мое терпение лопнуло: он ведь не только свою, он и нашу жизнь превратил в пытку! «В России, — почти закричал я, — за этот век истребили столько людей, что их никому не оплакать, ты можешь только еще и нас к ним стащить, тебе нужно пойти к психиатру, попринимать какие-то таблетки!»

«От чего таблетки? От совести? От сострадания? Разве ты меня этому учил? А как же миссия интеллигенции?» Он был прав. Но кто мог подумать, что он примет настолько всерьез мою напыщенную болтовню!

Правда, я не сразу решился назвать свои уроки совести лицемерной болтовней, я еще стаскал Илюху к психиатру, и тот прописал ему какие-то таблетки от интеллигентности. А Илья взял и принял их все разом.

Больница, куда нас привезли, была огромная и сверкающая, как океанский парход. Илюшку укатали на реанимацию, Фатьку куда-то увели под руки с сердечным приступом, а меня ничего не брало, я так всю ночь и прошагал по приемному холлу. За Фатьку я не беспокоился, меня уверили, что ее просто нужно до утра наблюдать. Врачи были очень милые, все говорили по-русски. И это была родная речь. Но я все равно чувствовал себя бесконечно одиноким.

Торжественная скорбь объединяет на общее дело, а смерть или мучения любимого человека отсекают от мира. До меня наконец-то дошло, что мы с Фатимой собственными языками убивали нашего сына. Мы торжественно скорбели, мы мстили и самоутверждались, а он страдал невыносимо. Мы воображали, что воспитываем в нем верность идеалам, но идеалы-то — это образ будущего, а не месть прошлому!

И раз уж пошла такая пьянка, признаюсь в последней правде, я только в ту ночь решился открыть на нее глаза. Я бы никогда в этом не признался, но я рассказываю не о себе, а о художественном образе. Это не я, это он такая лицемерная сволочь. Когда я узнавал про какие-то новые жертвы российской власти, я испытывал не боль, не жалость к ним, а торжество: ага, теперь не отвертитесь! Только не подумайте, пожалуйста, что я говорю о себе, это не я. Это все он, художественный образ. Ему и еще более страшные вещи приходили в голову. А что если я и мне подобные руководствовались такой логикой: вы нас оттесняете от государственных дел, так мы за это сделаемся вашей совестью. Но чужой совестью быть нельзя, можно быть только злопыхателем и завистником, совесть должна напоминать нам не о чужих, а о наших грехах. А о них я думал меньше всего.

И сколько из нас, профессиональных плакальщиков, любить умеют только мертвых, а к живым относятся с раздражением и брезгливостью. Хотя и мертвые были точно такими же.

Что же вы молчите, продолжения не будет. Исповедь сыноубийцы закончена.

Но все продолжали молчать, упорно глядя в черный стол, а Олег старался даже и не коситься в Борину сторону, чтобы не осквернить его трагический образ плебейскими седеющими усиками.

— Так чем же все-таки кончилось? — наконец решила спросить Галка, и в ней вновь проступила потрясенная хорошенькая болонка.

— Пока дома отлеживается. Стараемся одного его не оставлять. А дальше иншаллах, как говорит Фатима, — она теперь увлекается исламом. Илью уже иногда называет Ильясом.

— Мальчишки, — в чуточку раскосеньких Галкиных глазках стояли слезы, — скажите: на свете есть счастливые люди?!

— Есть такие люди! — дерзко откликнулся Боярский: он всегда очень умело изображал ленинский теног. — Вегнее, я таким был, пока не добился успеха в Амегике.

Его ерничество покорило Олега, но вместе с тем, если отнестись к Бориному рассказу с подобающим тактом, промолчать пришлось бы до самого расставания.

А погода за окном продолжала бесноваться, в стекла билась подводная нечистая сила. Пока еще тщетно.

Мои родители принадлежали к идеальному, то есть наиболее удобному, типу русских евреев: они видели решение еврейского вопроса в том, чтобы евреи сделали русскими, только лучше. Это «лучше» они, правда, понимали очень скромно: быть лучшим учителем математики в средней школе, как отец, быть лучшим рентгенологом в районе, как мать... А метить выше ни к чему, там начинаются интриги и зависть. Вот моральный рост ни у кого не вызывает зависти — ему и нужно предаваться без ограничений.

В принципе я был не против становиться лучше. Но становиться лучше в угоду кому-то... Кто об этом не просит и благодарить не собирается...

Сева сказал, что если им недовольны, то ему хочется лебезить... Пардон, не ему, а вылепленному им художественному образу. Ну, а моему художественному образу хочется послать недовольных подальше или поглубже, на их усмотрение. В школе я никакой дискриминации не подвергался, наоборот, был первый ученик, первый красавец и первый спортсмен — образ, я имею в виду. Но все-таки главную прелесть жизни составляет беззаботность, в простонародье — разгильдяйство. Я особо далеко по этому пути не заходил, но дома мне слишком уж часто твердили, что еврей не может себе позволить быть разгильдяем. Это как — русским можно, а евреям нельзя?.. И я решил сделаться лучшим из разгильдяев.

А все лучшее, как вы знаете, делается в Америке — там и разгильдяи образцовые. Хиппи — это было так романтично! Я где-то раскопал, что в Штатах его раскрутили

евреи — Рубин, Краснер, еще кто-то, Хофман, что ли... Так почему бы и Боярскому не сделаться русским Краснером?

Что у нас в России плющит больше всего — серьезность. Советская серьезность, антисоветская серьезность, буржуазная, антибуржуазная — послать всех в задницу — вот единственное спасение от этих зануд! Это и сделали хиппи: мы не протестуем, мы празднуем! Вот что такое американский протест — забить на все. Выйди из скорлупы! Делай только то, что смешно и нелепо! Отсюда и рок — лучше вопить, бормотать, чем тянуться навывтяжку.

Но меня сразу покорбили все эти герлы, мэны, драйверы, хаеры, френды, бездники, мазеры унд фазеры на флэтах... Даже наши родные менты были уже не менты, а полисы! И это обезьянство — борьба за свободу от норм? Это, наоборот, добровольное подчинение чужим нормам. И где стилистическое единство — ПОЛИСЫ их ВИНТЯТ! А я хочу, чтобы менты брали мне под козырек. Или, по крайней мере, три раза подумали, прежде чем спросить паспорт, который эта шелупонь называла КСИВОЙ. Ксива... Так вы бластные или штатники, в конце-то концов?! Бластные бы вас опустили с полтыка.

Что еще меня от этой публики отвращало — все эти волосатики были как на подбор дохляки. Это даже культивировалось — быть полудохлыми. И девки были бесцветные. Еще и с диссидентскими поползновениями... То есть вместо того чтобы на все забить, ради чего все и затевалось, устраивали еще один комсомол, только с другого конца.

Ну, и гэбуха за нами, конечно, приглядывала, хоть опасности эта моль уж никакой не представляла. Хотя в казарме и незаправленная кровать считается покушением на основы. Поэтому у нас очень любили перетирать, кто стучит и кто не стучит. Это их поднимало в собственных глазах, а меня, наоборот, опускало: все же наше движение было задумано, чтобы забыть о конвойных, а мы без них прямо-таки затяжки сделать не могли.

Короче, я там быстро заскучал. Зато если мне хотелось делать жизнь с кого — так это с моего дяди Сени. В паспорте он был Семен Давыдович, но всегда представлялся как Шимон Давидович — ничего, говорил, слопают. При этом выглядел как эзк, это он тоже нарочно культивировал: худой, стриженный налысо, даже зубы из нержавеющей стали не менял. Он бы и от ватника не отказался, но этого бы уже не потерпели. Однако он любил вспоминать, как его привезли из лагеря к Курчатову именно в ватнике прямо на совещание с министрами и генералами. И Курчатов его перед всеми обнял и сказал, что теперь за теплоперенос он спокоен.

К слову сказать, кличка «ватник» еще отвратительнее, чем «жид»: она отсылает к социальному статусу. У нас... у вас в ватниках отходили такие люди, что его можно бы и превратить в парадный мундир.

Мой отец, правда, косил под Викниксора из кинофильма «Республика Шкид», так он понимал типичного русского интеллигента.

Так вот, дядя Сеня, уже и членкор, и лауреат Ленинской премии, довольно часто приезжал в Питер из своего Арзамаса Шестьсот Шестьдесят Шесть консультироваться с Обломовым. И каждый раз крутил головой: «Антисемит, но гений, ничего не скажешь». Я как-то раз решил повольнодумствовать: как же вы, мол, дядя Сеня, вооружаете тоталитарный режим? А он спокойно так сверкнул своей нержавеющей сталью: люди при любых режимах готовы истребить друг друга, их может удержать только страх. Мы и поддерживаем равновесие страха.

А мне к тому времени полюбились обольщать русских красавиц, реваншизм своего рода. Вот вы меня-де не любите, а ваши самые красивые женщины меня любят. Кто «вы», я и сам толком не знал, меня если кто и не любил, то исключительно за мои понты, но действовать я старался каким-то «им» назло. И понемногу в моей душе... Но не в моей, конечно, а в душе художественного образа вызрела безумная мечта: обольстить Обломова. Ради этого я и пошел на его кафедру, хотя все знающие люди предупреждали, что Обломов евреев к себе не берет. Значит, я буду первым. И не беда, если и последним.

И я всегда старался выскочить первым, когда он на лекциях обращался к народу. Голоса он запоминал с первого прослушивания, и я видел, что меня он выделяет. Но на пользу ли мне это пошло, не уверен. Он мог думать: умник, но выскочка. И был бы прав. Но как-то раз он с нами поделился, что город готов выделить «Интеграл» бывшую дачу Головина, а я спросил, не того ли Головина, который председатель Государственной Думы. По-видимому, ответил он так холодно, что я больше не выступал. Хотя, возможно, если бы я вел себя тише воды ниже травы, это бы мне все равно не помогло. Перед распределением я все-таки опустил до того, что попросил дядю Сеню замолвить за меня словечко перед Обломовым. И он ответил мне неожиданно жестко: «Еврей, который нуждается в том, чтобы за него хлопотали, не стоит того, чтобы за него хлопотать. Ты должен сделаться таким, чтобы без тебя не могли обойтись. Чтобы тебя переманивали».

Зато когда я пришел за рекомендацией к Обломову, он меня принял, минимум, как родной отец.

Как я понял, можно рассказывать о себе и сказку? Воспользуюсь.

Когда мы с моей русской красавицей — у нее коса пшеничная, васильковые глаза — волокли с нью-йоркской помойки облезлую тумбочку, до нее наконец дошло: эге, да ты лузер!.. Это все под ржавыми зигзагами пожарных лестниц на фоне копченого кирпича. Под взглядами других лузеров из узеньких окошек.

И она отправилась искать счастья среди исконных и посконных янки. И нашла. Сначала одно, потом другое, потом одиннадцатое, а дальше затерялся след Тарасов между прерий и пампасов.

А я отправился в Массачусетский технологический институт и выложил свой единственный козырь — рекомендацию Обломова. «Как, неужели это тот самый грэйт Обломофф?!» Да, тот самый, и я его фэйворит студент.

Так главный ленинградский антисемит раскрыл для меня объятия научной Америки. И мне удалось понежиться в этих объятиях от Бостона до самых до окраин. Снова жениться на красавице — мисс Небраска. Произвести на свет двух красавчиков, истинных янки. Разбогатеть, купить два дома, гораздо более роскошных, чем мне требуется. И все ради уважаемых соседей. Тамошний средний класс улицу сдал тамошним морлокам, а сам заперся в благоустроенных крепостях — все кто может туда и сбиваются, под защиту артиллерии.

Только не нужно путать средний класс с высшим — миллиардеры тоже запираются от миллионеров. И что у них на уме, могу только фантазировать вместе с остальным человечеством. Боюсь, без равновесия страха они, как и все мы, тоже утрачивают связь с реальностью. Древние евреи понимали: сила жаждет, и только печаль утешает сердца. Обаяние силы уничтожается страхом, который она внушает. Вот и американским хищникам неплохо бы вкусить какой-нибудь печали, чтобы они научились дозировать внушаемый ими страх. Я сам миллионер, но если мои миллионы обратить в сто долларовые купюры и уложить их пачками на земле, пачка к пачке, то получатся какие-то метры. А у миллиардера это будут километры — чувствуете разницу? Я ее почувствовал, только когда сам попал в средний класс.

Как мне выпало такое счастье? Как в сказке. В речфлоте я научился так поддувать под днище судна, что оно начинало порхать по волнам, как плоский камень, пущенный умелой рукой. Признали в Америке мой дар не сразу, первый мой заказ был медицинский — я исследовал волновые процессы в женских грудях. Но поддул раз, поддул два — пиплу понравилось, начал понемногу хавать. Даже до оборонки дело дошло — доверили, блин, русскому... Меня же там все за русского держат, там вообще Россию представляют наши евреи, они главные эксперты по России.

Постепенно пришлось расширять дело, образовалась своя фирма... Со временем и мои коллеги научились поддувать, но я как первоподдуватель у профанов вызываю больше доверия — тут еще очень помогает седина в бороде. Теперь мне платят в основном за присутствие и внушительный вид. Хотя, боюсь, скоро все-таки разоблачат, янки народ практичный. Но мне не страшно — и сбережений хватит, и пен-

сию я приличную уже заработал. Только как убивать время, еще не придумал. Пока развлекаюсь прыжками с парашютом — покуда летишь, не скучно.

Но в ваших глазах я читаю невысказанный вопрос: правда ли, что Америка вас ненавидит? Отвечаю: неправда. Наоборот, она хочет вас освободить от тиранов, а это гораздо опаснее. Я серьезно говорю: американские добродетели в тысячу раз опаснее американских пороков. Американцы всегда готовы прийти на помощь. Они действительно ощущают ответственность за торжество справедливости во всем мире. Представляете, у них в школах каждое утро приносят клятву верности американскому флагу! Положа руку на сердце! Мы бы изглумились! Они верят, что действительно могут выбрать лучших, не в этот раз, так в следующий. Что каждый действительно может стать президентом или Фордом. Не автомобилем, разумеется. Но историей-то рулят, как нас учит Сева... Сева, я читаю твои статьи, цени! Историей рулят властолюбцы и хищники, а они не снисходят до ненависти, это занятие для истеричек обоего пола. Властолюбцы и хищники всего мира грызутся друг с другом, а мы, лошье, для них расходный материал. Только при демократии лохов приходится не запугивать, а дурачить. Использовать, делая вид, что угождаешь. А легче всего угодить в роли спасителя. Это самый выгодный бизнес — сначала напугать, а потом спасти. И врачи, и знахари этим пользуются.

Можно запугивать террористами, и это тоже делается. Но на террористах много не наваришь, для них не нужны ракеты, авианосцы... Газетчикам-то все равно, против кого вопить, а вот генералам, промышленникам далеко не все равно. В общем, ловкачи везде имеют лохов, но американские лохи лучше наших. Чище. У них и улыбки детские, без примеси грусти, сарказма... В кино с утра до вечера кого-то спасают от злодеев. А то и целое человечество. Простые американские парни. А начальство только вставляет им палки в колеса. Оно же озабочено карьерой, какими-то государственными видами, а простой человек без затей любит родину. И даже человечество, если оно в опасности. Без всякого мудрого парторга.

В ваших глазах снова зарождается невысказанный вопрос: а все-таки какая она, Америка? Отвечаю: это действительно царство свободы — в ней есть все. Есть пуританская религиозность, оправдывающая прагматизм и свободную продажу оружия. И смертную казнь. Есть прекраснодушные идеалисты, и есть запредельные циники. Как и у нас. Есть возвышеннейшие поэты, и есть тупые жлобы. Тоже как у нас. У вас. Я работал в баптистском университете, где о женском декольте не могло быть и речи. Даже я был вынужден посещать синагогу, иначе бы мягко-мягко выжили. Но и в синагоге требовали только приличий. Это был очень толерантный университет, там работали и чернокожие преподаватели. И все друг другу улыбались. Только в столовой сидели отдельно. А когда я начал садиться вместе с чернокожим коллегой, мне мягко дали понять, что это не принято.

Зато в другом университете была полная свобода. Хочешь быть обормотом — к твоим услугам травка, бары, отвязные дискотеки, трахинг по первому позыву. Хочешь быть ученым — к твоим услугам изумительные библиотеки, лаборатории и профессура нобелевского уровня. И в городах точно так же — то блеск и треск, то блокадный Ленинград. Как, почему?.. Деньги оттуда ушли. Вот так, захотели и ушли. И куда они еще могут забрести, эти деньги, даже Сорос не ведает.

Это самый настоящий социальный эксперимент — дать простор всем социальным силам и смотреть, куда вывезет. Это реальная демократия, это-то и хреново. Так называемый простой человек там и впрямь что-то вроде хозяина. И лебзяят, и стараются облапошить прежде всего именно его. Как лакей хозяина. Открытого неповиновения никто не выказывает, льстят безбожно, в лицо не плюют. В этом смысле ваши хищники куда раскрепощеннее.

Угождает плебсу и массовое производство, а это главное, что Америка дала миру. По части гениев никому Европу не догнать, но теперь и в Европе демократия, гениев тоже не густо. Да гении сегодня гравитации и не создают, ее создает попса. Помните, как было при совке? Пугачева прохотала «Арлекино», и сразу по всей стра-

не ее хохот раскатывается. В Таллине Пугачева, в Ташкенте Пугачева, в любой нацреспублике говорят по-русски, а кто не говорит — тот лапоть или смутьян. Без шансов на победу. И мы чувствовали, что мы действительно хозяева!

А представляете, если бы и в Бомбее, и в Джакарте, и в Берлине, и в Токио — везде «Арлекино». Любую нашу хренотень тут же подхватывают миллиарды. Куда бы мы ни приехали — опять же от Португалии до Японии — все или говорят по-русски, или стесняются, что не говорят, или пыжатыся, что они выше этого. Плебс считает шиком вставлять в родной язык русские словечки типа «столовка», «воротила», «кабак»... А знать везде от полюса до полюса чешет по-русски и еще гордится, что чешет без акцента. Какие штаны мы ни натянем — узкие, широкие, — их тут же копируют опять-таки МИЛЛИАРДЫ. Любой писк нашей местной моды тут же копируется миллиардами — фейсбук, ютуб, айфон... Любая наша придурь, любая блажь мимолетная тут же превозносится и копируется, — что, мы от этого не вознеслись бы до небес? Вот именно в этом настоящая сила Америки, ее гравитационное поле — не в Эдисоне и не в Фолкнере, такие и у других есть, а в том, что любая ее дурь моментально завоевывает весь земной шар!

Немудрено, что для производства плебейской дури возник целый креативный класс — креакл. Какую бы грандиозность ни сотворили творцы, креаклы тут же ее опустят на потеху толпе. Творцы придумали радио — креаклы набили его idiotскими новостями и обезьяньей музыкой. Творцы придумали компьютер — креаклы закачали туда стрелялки и порнуху. Впрочем, это лучшее, что они сделали.

Из лакеев креаклы самые опасные, потому что их принимают за творцов.

Но давайте, однако, не притворяться, будто нас волнует, хороши или плохи страны, в которых мы живем. Мы люди уже немолодые — тебя, Галочка, это, разумеется, не касается — и можем честно друг другу признаться: если нам хорошо, значит, и страна наша хорошая, а если нам плохо, то и страна плохая. Мы же о себе сочиняем сказки, а страны только декорации.

Так вот, хорошо ли мне в Америке? Отвечаю: не очень. И какого же рожна мне не хватает? Отвечаю: завидую дяде Сене. Он, собственно, демонстрировал, каким могло бы быть решение еврейского вопроса в России: евреи вливаются в имперскую аристократию и пашут вместе с государством. Как немцы при батюшке-царе. Я бы с превеликим удовольствием слился с государственным могуществом. И пусть бы плебс меня недолюбливал, как тех же немцев когда-то, мне бы это только перчика добавляло.

Но ведь Россия и свою-то аристократию регулярно уничтожает, чуть она начинает нарастать. Ведь и наша компашка, глянем трезво неправде в глаза, была вполне аристократическая, а куда нас всех раскидало? Что мы, о бабках думали? Нет, разве что о бабах. Да и то в свободное от служения время. А служить-то мы хотели чему-то прекрасному и вечному, извините за выражение. Это говорю не я, а художественный образ. И чему же мы послужили?

В Америке меня с самого начала подбадривали: здесь нет дискриминации, здесь ты такой же, как все. Они уверены, что это большая честь — быть такими, как они. Хотя бы мне они в подметки не годились. Понемногу они начали меня еще и похваливать: молодец, мол, ты сумел войти в средний класс. А я не хочу быть таким, как все, я не хочу быть средним классом! Я аристократ и хочу быть аристократией! И вообще, мне не нравится быть заодно с начальством, а Америка сегодня начальство. Смеюсь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы — мне это больше по кайфу. А то многие наши борцы за свободу превращаются в таких жополизов!.. Скажешь, что видел на улице крысу, так они тут же про великую миссию Америки — ну, чистый соцреализм! Нас в совке тоже учили не верить собственным глазам, возвышаться над собственной жизнью. Скажешь, что какой-то мудака отливает прямо на роскошной авеню — так это и есть настоящая свобода и равенство, а не нравится — отправляйся обратно в Рашку. Ну, как в совке говорили: отправляйся в свой Израиль. И что, это такие у меня теперь братья по классу?

Конечно, как всякий падший аристократ я мог бы превратиться в интеллигента. У них тоже таких хватает: раз вы не позволяете вами командовать, мы за это сделаемся вашей совестью. Я тоже мог бы оплакивать краснокожих, чернокожих, голубых, белых китов, но уж слишком это пошло и фальшиво. Ясно же, что всем начхать и на индейцев, и на китов, все хотят только покрасоваться. А я и так достаточно красив. Нет, недостаточно. Миссии не хватает. Наши жополизы твердят, что миссия должна быть только у американцев, а мы, сиволапые, должны «просто жить». То есть превращаться в то самое быдло. В России-то, как многие из нашей братии, я мог бы тоже вообразить себя миссионером, светочем цивилизации и демократии в варварской стране, а в Америке все сами и без меня светочи. Там даже левые в глубине души убеждены, что живут на вершине мира, только хотят хоть немножко подгадить его хозяевам.

Собственно, с тем, что американцы считают себя лучше всех, я вполне готов смириться. Но они ведь считают себя еще и лучше меня! Я их когда-то пытался давить эрудицией, но они совершенно не стыдятся чего-то не знать. Это не их вина, это вина того, кто не сумел до них докричаться, будь он хоть Бах, хоть Кант. И вот однажды летним вечером в парке натыкаюсь на толпишку светочей, обступивших армированный стеклянный стакан метров под десять высотой. Немножко похоже на вольтер для птиц. И в вольтере действительно летает человек-птица. Обряжен он был вульгарно, под киношного Супермена: чешуя цвета морской волны, какие-то алые загогулины на груди, красные сапожки в обтяжку — только алого плаща с черным подбоем не хватало. Но летал он изумительно. То взмлет в небеса, то вдруг бесильно устремится к земле, этаким Икарусом. И собой голливудский красавец типа Иисуса Христа в изображении Сальвадора Дали.

И над всем этим стенает как бы космическая электронная музыка.

Только тут я и заметил, что вольтер евоный окружают в основном тетки. Раскрепощенные, а значит, неухоженные, толстые... Но все равно зачарованные этим летучим красавцем. И тут из тамбура открылась дверь в стакан, и из нее выпала еще одна тетка, затянута в голубой комбинезон, напоминающий скафандр. Вернее, не выпала, а просто легла на воздушный поток. А голливудский Супермен стоял рядом — при таком уменьшении поперечного сечения поток его поднять не мог — и показывал ей, как нужно прогибаться, балансировать руками... Я стоял довольно близко и видел, как под напором воздуха трепещут ее щеки, выдавленные тесным капюшоном. А его пробор не могли возмутить ни турбулентный поток, ни тем более ламинарный.

А потом Супермен начал вместе с ней медленно подниматься. И вот они уже висят рядом на порядочной высоте, даже немножко страшновато. И вдруг он ныряет вниз, и она остается одна. А потом, видимо, что-то происходит с воздушным потоком, и она тоже начинает падать. И он взвизывает вверх и подхватывает ее на руки. И так они вместе опускаются на землю.

Эта архетипическая картина — мужчина, да еще красавец брюнет, спасает женщину — оказалась такой трогательной, что я невольно заплотировал вместе со всей толпишкой. А спасенная освободилась в том же тамбуре от голубого скафандра и вышла наружу неухоженной теткой, только очень похорошевшей от пережитого счастья. И тут же в тамбур отправилась следующая.

Счастье быть спасенной голливудским красавцем стоило не так уж дешево, я даже удивился, когда очередь дошла до меня. Я уже понял, что на поток можно ложиться без опаски. В этом я не раз убеждался в аэродинамических расчетах, но тут получил самые убедительные подтверждения — сигналы тела. Оно лежало на воздухе, как на матрасе, а Супермен кричал мне в ухо, что я все делаю правильно, и отпустил меня под сетчатый потолок без своего сопровождения. А когда мы вместе выходили — я был последний, уже стемнело, — он сказал, что мог бы даже захватить меня на парашютный прыжок.

Я посмеялся, но телефон взял. Заниматься этой опасной чепухой у меня не было ни малейшей охоты. Но жизнь тянулась так медленно и скучно, что мне пришел на

ум еще один Севин урок. Он на шабашке нам втолковывал, что каждому человеку и даже народу нужен свой фронтир. Чтобы что-то преодолевать, куда-то расти. А у меня давно никакого фронта не было. И я позвонил Супермену. Он оказался отличным парнем, в Америке таких полно. Так дружелюбно со мной в последний раз говорил только Обломов, когда я пришел просить рекомендацию. И все-таки перед вылетом пришлось пару раз сбежать в сортир. Фронтир и сортир — близнецы-братья.

Но когда я шагнул из люка, то пожалел, что не сбежал в третий. После полета в стакане мое тело решило, что я снова лягу на воздух, как на матрац. А когда я ухнул, будто с крыши, а под ногами-то бездна... В рекламе обычно успокаивают: всего через две-три секунды... Но за эти три секунды можно три раза поседеть. Хотя седина моему бизнесу на пользу.

Еще пишут: незабываемое ощущение полета... Какого, к черту, полета! Висишь черт знает на какой высоте, а под ногами ничего нет, Господи, думаешь, хоть бы скорее долететь, и уже больше никогда ни за какие коврижки!..

Но внизу тебя охватывает такое счастье, что ты спасен... Это упоение держится иногда дня три-четыре. А потом опять начинается скука жизни, этакий комплекс простого американского парня Марта Идена. Всего достиг, а мираж растаял. И снова начинается тоска по какому-то фронтиру. И я снова звоню Супермену.

Кое-какая привычка все-таки нарабаталась, перед вылетом ощущаю уже не ужас, а безнадежность. Разобьюсь, так и черт с ним, лишь бы скорей отмучиться. И вниз уже смотреть не боюсь. Наоборот, высматриваю, куда же они попрытались: банджо, ковбои, Огайо, Оклахома, апачи, Аппалачи?.. Внизу только бензоколонки, шоссе, прямоугольнички домов — все для удобства и ничего, простите, для мечты. И я мысленно выбираю, куда бы мне приземлиться, и вижу, что некуда. Фронта не где. Везде или удобство и скука, или кошмар.

Но я еще не настолько искушался, чтобы выбрать кошмар. И вижу, что мне самое место между небом и землей — вот так бы лететь и лететь и никогда не приземляться.

— Все, финита ля комедия. Скончал певец. Не смотрите на меня так, все нормально. Мы же договорились рассказывать друг другу каждый свою неправду, я и рассказал неправду. У меня все зашибись, мы, евреи, умеем устраиваться. Выпьем, чтоб легче было лгать. Слабая все-таки штука sake, пьешь-пьешь, а никак не провраться. Вы можете на кого-то другого смотреть? Смотрите на Мохова, пусть теперь Иван Крестьянский Сын режет нам свою неправду-матку.

Но ерничество не шло ни ситуации, ни нынешнему Коту — слишком уж он смахивал на старика Хоттабыча, и все продолжали смотреть на него очень серьезно и даже испытующе. Из прищуренных глаз Бахыта исчезло примиренное выражение усталого рикши; у Галки несколько раз поднялась верхняя губка, приоткрывая по ее краешкам два забытых маленьких вздутия, словно изнутри пыталась выглянуть на свет еще одна губа. Но тут загудел Мохов — замес мосластого сутулого мастерового пробился в нем сквозь все ученые степени и звания.

А всемирный потоп за окном все бесновался и бесновался. Воды вроде бы стало обрушиваться поменьше, но это возмещал ветер.

В детстве все кажется нормальным. Чему учили в школе, было нормально. Что слышал клочками от взрослых за бутылкой, хоть меня от стола и отгоняли, тоже было нормально. В итоге мне долго представлялась вполне нормальной такая картина. Если бы немцы нам объявили войну хоть за полчаса, мы бы им показали. Но эти гады напали без объявления войны, и поэтому они нас сначала побеждали. Поэтому мой папа попал в плен. И его после войны посадили за то, что он не застрелился. А не застрелился он потому, что застрелиться было не из чего. А если бы у него была винтовка или наган, он, конечно, застрелился бы, и все бы было хоро-

шо. Еще плохо было то, что его посадили не сразу. Он еще успел заехать домой в землянку, потому что дом сожгли немцы во время карательной операции. Они заодно прострелили маме плечо сквозь грудку моей сестренки, ее мама держала на руках. Так она с простреленным плечом и убитой дочкой на руках и отсиделась в подполе. Поэтому когда мне твердят о гуманизме европейцев и о варварстве русских, мне трудно отделаться от детских впечатлений. Надо еще немножко подождать, пока и мы выйдем. Вот тогда правда окончательно восторжествует.

Так вот, нашей семье не повезло сначала из-за того, что отцу не из чего было застрелиться. А потом — что посадили не сразу. Он переночевал с матерью в землянке, а забрали его только на следующий день. И от этого у мамы родилась еще одна моя сестренка, и растить ее нужно было без отца в землянке... Вместо подгузников мать солому использовала. Потом, уже взрослым, я как-то маму решился спросить: вы о чем думали?.. Она только вздохнула: сынок, это же не с голоду, а смолоду...

В общем, ясное дело, варвары, дикое скопище пьяниц. Контрацептивы даже не освоили.

Но в то героическое время меня еще не было.

Я появился уже в избушке на курьих ножках, когда и сестренка пахала на колхоз, и отец вернулся. Ему как инвалиду и фронтовику даже доверили горюче-смазочные материалы. Его к тому времени реабилитировали. Поэтому когда его сажали во второй раз, он не считался рецидивистом. Начальство все время требовало что-то им отпустить налево, иначе бы сместили, а он больше ни на что не годился. Но и замечать следы он тоже не научился.

Но, в общем, и срок он получил, по старым меркам, детский. И я к нему еще привыкнуть особенно не успел, так что и это казалось мне нормальным: отца нет, надо мантулить на огороде, заготовливать грибы, ягоды, ловить рыбу...

Для дачников это была забава, а для меня жратва. Я хоть и не голодал, но карамелька считалась роскошью. Сестра мне рассказывала, как они с матерью на чьей-то свадьбе ночевали у таких богачеев, у которых сахарного песка была целая наволочка под кроватью. И сестренка сосала и жевала уголок этой наволочки, а сама обмирала от ужаса. И повторяла себе: скажу, что это теленок — у них в это время теленок жил в избе. Мог же он заползти под кровать? Телята — они такие.

Но что мне начало казаться ненормальным — дачники. Они с собой привозили масло, сыр, колбасу, ветчину, каких мы и не нюхали. А не нюхали мы никаких. И я задумался: почему моя мать встает в пять часов на дойку, ходит по навозу в резиновых сапогах, а масло, сыр у них? Почему наша свиноферма, когда нужный ветер подует, воняет на все село, а ветчина у них? А они при этом с нами здороваются как-то чересчур уж приветливо, как с дурачками.

Счастливики, которым все было доступно от папы с мамой, ругают советскую школу за то, за се, и я бы тоже ругал, если бы у меня было что-то получше. В перестройку и советскую власть больше всех ругали те, кому высшее образование досталось по праву рождения. Но если бы не наша сельская школа, я бы никогда не услышал ни про Пушкина, ни про Ньютона. Только там я и увидел книги и так в них впился, как будто давно их искал. Это такая порода людей, для кого главная жизнь в книгах. Глотал все подряд и наткнулся как-то на здоровенный том «Хочу все знать!». А я и правда хотел все знать. И вот читаю: «Лента Мёбиуса». Предлагают бумажную ленту закрутить на пол-оборота и склеить кольцо. А потом, пишут, разрежьте его вдоль — вот удивитесь-то! Чему ж там удивляться, думаю, ну, будет два кольца.

Из старой тетрадки вырезал ленту, закрутил, склеил вареной картошкой. Стал резать — и вдруг вместо двух колец получается одно, только сильнее перекрученное. А что, думаю, если и его разрезать? Очень осторожно, чтоб не расклеилось, резал, резал — и бац, получились два кольца, друг в дружку продетые. Сижу и пялюсь на них, как баран: как такое могло получиться? Потом уже в институте я разработал кинематическую схему поверхности Мёбиуса — через вращение отрезка. И по ней мог уже предсказывать, что получится, не разрезая.

Но я отвлекся. Держу я эти витые бумажные кольца, и тут заходит дачник купить ягод. Я продавать стеснялся, но и деньги были нужны позарез. Так я на перевернутую бочку ставил корзину с лесной клубникой, они сами кружку набирали и клали деньги на бочку. А я вроде как ни при чем. Отсюда и пошло это выражение — деньги на бочку. Так вот зашел дачник, тоже, кстати, похожий на Викниксора. Я тогда в евреяx еще не разбирался, это был чисто фольклорный образ, вроде русского на Западе. Но я как-то различал, что есть и какие-то особенные городские, городские, так сказать, из городских. Этот Викниксор был тоже из городских городской. Он увидел меня с этим разрезанным кольцом и немножко обалдел. Ты сам, спрашивает, до этого додумался? Нет, говорю, в книжке прочитал. И он мне через неделю привез сразу штуки три рассыпчатых Перельманов. Занимательная математика, занимательная физика и занимательная астрономия. Вроде бы.

Проглотил я их, а дальше началась сказка. На колхозном «газоне» меня отвезли на городскую олимпиаду, и я занял по физике второе, а по математике третье место. И пока я дня три там тусовался — это было счастье, я увидел, что я не один такой придурок, — так вот, я заметил, что и среди городских есть свои городские. Они держатся так, будто из каких-то столиц в наш областной центр ненадолго завернули и все им тут немножко смешно.

Но потом я и в Ленинграде встретил таких умников. Они и в культурную столицу попали как будто из какой-то еще более крутой столицы — из Парижа, что ли, или из Нью-Йорка, — им и Ленинград немножко смешон. И, никому не в обиду, почти все они были евреи. Нет, наши Боря с Котом были совсем другие. Борю я вообще принимал за русского, только чересчур уж принципиального. А Грузо, я думаю, и есть грузин. Тех, столичных из столичных, было немного, но они держались кучкой и больше всех бросались в глаза. Постепенно как-то выяснилось, что они всех русских считают антисемитами и, так сказать, превентивно стараются их опустить. Во всех стычках, будь то даже шахматный турнир, они становились на сторону Америки и, кажется, воображали, что и они для Америки что-то значат. Они здесь ее посланники, нас вразумлять. А я к тому времени уже сильно недолюбливал Америку за то же, за что недолюбливал и городских: она была что-то вроде города над городами. Коров кормит и доит весь мир, а сыр с маслом у них.

И уже далеко после перестройки я как-то раз пришел к Обломову советоваться. Отца же у меня, в сущности, не было, я со всеми вопросами ходил к Обломову, тоже крошка сын. И говорю ему: «Владимир Игнатьевич, пора создавать партию „Ватники против умников“. Пока мы их слушаемся, мы народ, как только о своих интересах начинаем думать — мы быдло. Так быдлу и нужно держаться друг за дружку. А то этих городских ничем не прошибешь. Им скажешь, что в колхозе народ выживает, как при немцах, а они: и правильно, все нерентабельное должно отмереть. Жалеют они нашего брата, как кошка мышку, им главное, что за границу стало можно ездить. Лозунг дня — открытое общество. Чтоб Америка всех открыла и сожрала, как консервы. Наши умники думают, что они американцам союзники, а они для них полезные идиоты. Думают русофобией к ним подмазаться, как будто у тех своих русофобов мало».

Все это я Обломову выложил, а он помолчал-помолчал и заговорил этим своим придуренным басом: «Валентин Алексеевич, когда я только чуть в науке продвинулся, я тоже столкнулся с теми умниками, для кого мы все сибирские валенки. И через скорое время почувствовал, что с ними сам еврею уподобляюсь. Что везде я ишу русофобию, из-за всякой мелочи ночей не сплю. А как всех их позаткнул я за пояс, тут-то и обиды мои кончились».

Мне захотелось протереть глаза, точнее, уши. Или мне это снится-чудится: русский гений заговорил былинным слогом. Я пытался понять, не розыгрыш ли это, но его пустые глазницы смотрели мимо совершенно непроницаемо.

«Состязаться мы вздумали в потреблении. А наше истинное поприще — подвиги. Если что в социализме есть хорошего, так возможность не крохоборничать.

А собрать-то всю силушку во едину власть да чего-нибудь такое сотворить-создать, чтобы люди во всем мире рты разинули. И уж сколько я всякого навывдумывал, да только старые бздуну меня не слушали, все требовали, трясогузы, рентабельности».

Он отмахнул этих воображаемых трясогузов своей могучей ручищей и нечаянно сшиб со своего императорского стола земной шар. Наши партнеры из Челябинска-77 к восьмидесятилетию прислали ему в подарок каслинского литья земной шарик величиной с маленький арбуз, а на нем были рельефно выделены все материки, горы и острова. Обломов время от времени любил нас поражать, что на спор моментально находил любой островок. Да еще и мог о нем что-то рассказать — население, типа, экономика... Так вот этот он земной шарик и сшиб со стола. Я бросился его поднимать, но он этого терпеть не мог. Он сам по стуку безошибочно подошел к шару и с первой же попытки его нащупал. Хотел поднять — ан нет, одной рукой не удержать.

— Владимир Игнатьевич, давайте я вам помогу!..

— Си-ди!

Он взялся за шарик двумя руками — и снова не смог оторвать его от паркета. И тут уж его заело: он присел, как штангист — вы знали, что он был чемпионом республики по штанге среди слепых? — и напрягся изо всех сил — побагровел, на шее вздулись жилы... И вдруг из его пустых глазниц ударили две струи крови, прямо как шампанское.

Даже русскому богатырю не справиться с мировой гравитацией. Отняла русской силы земля половину. Но он нам завещал национальную идею: Россия должна быть мировым фронтиром. Упаси Бог, не военным, войны только превращают всех в рядовых, а страну в казарму. Мы должны браться за какие-то неслыханные грандиозные проекты, и неважно, выполнимые или невыполнимые. Главное, что выковыывают такие проекты, это люди. А в остальном побочные результаты обычно оказываются важнее главной цели. Колумб хотел доплыть до Индии, а открыл Америку. А если бы Америки и не было, ее поиски все равно бы продвинули и навигацию, и картографию, и судостроение — гидродинамику, сопротивление материалов...

И я сейчас как раз ищу, что бы могло послужить «Интегралу» такой Америкой? Чтоб мы ее искали и росли? И думаю: а почему бы не добыча метангидрата из вечной мерзлоты? Для начала это дало бы смысл нашему присутствию на Крайнем Севере.

Только когда Иван Крестьянский Сын замолчал, все снова услышали беснования водяных за стеклами. Как, однако, вырос Валька Мохов, — и он-таки действительно живет в Истории, не одни только хищники и мономаны, правильно Обломов распознал в нем свою будущую правую руку. Во всех обломовских авантюрах — или это действительно были поиски новой Америки? — Мохов каждый раз достигал серьезных высот, хоть в водородном топливе, хоть в свиных аминокислотах. Из-за этого он и не продолбил какой-то собственной дороги — каждые три-пять лет начинал что-то новое. А чуть наступала пора пожинать плоды, Обломов перебрасывал его на новую грандиозность. «В сущности, он действительно отдал Обломову жизнь. Как и я. Но он и сейчас Обломова от меня защищает, не озорство-де им двигало, а жажда величия. Но осталось ли в мире хоть что-то, чем можно было бы поразить мир? Метангидрат — такая же прагматика, как нефть. Пожалуй, осталась лишь одна великая мечта — бессмертие. Но промолчу, пускай покамест он живет и верит в мира совершенство».

Уважительно на Мохова смотрели все, но любопытство он правильно распознал лишь под рыжей Галкиной челкой.

— Галочка, я тоже читаю в твоих прекрасных глазах невысказанный вопрос, — этот мастеровой в прокуренных седилах и галантность освоил, только вот гудеть не отучился. — Ты хочешь спросить меня насчет личной жизни? Так вот, моя жена работает в зоопарке, считает, что животные намного лучше людей, они убивают, только чтобы съесть. Она наполовину армянка, но в школе ее принимали за еврейку. Она, бывало, посколь-

знется, а какой-нибудь пацан тут же скажет: вон Сарочка упала. Детей у меня двое — сын и дочь, очень красивые, в маму. Орлиные носы от нее, синие глаза от меня, генетический парадокс. Мы их тоже пытались включить в оплакивание, я — моей деревни, Анаит — армянского геноцида. Но они не дались, их другие гравитационные поля увлекли. Они полноправные члены информационного общества — торгуют враньем. Он сомнительными бумагами, она сомнительными репутациями. Это называется пиар. Но зарабатывают, катаются по заграницам, счастливы в семейной жизни... И внуки-внучки современные — не вылезают из планшетов, если велишь почитать, спрашивают: за что? Для фронта не годятся, а дожить на обочине истории с ними можно вполне приятно. Но я уже выхожу из жанра сказки, а это скучно. И не трогательно. А Сева же хотел нас убедить, что внутри своей неправды каждый по-своему прав. И трогателен.

— Так это правда, — вздохнул Олег. — Обидно, но правда. Если бы мы заглянули во внутренний мир любого подонка, узнали, каким он уродился, какие уроки ему дала жизнь, то увидели бы, что никак иначе он поступать не может. Так что давайте лучше слушать Баха. Бахыт, ты готов?

— Всегда готов. Загляните во внутренний мир подонка.

Я принадлежал к аристократическому казахскому семейству, хоть и услышал впервые это слово через много лет. И в моем тогдашнем представлении быть казахским аристократом означало говорить исключительно по-русски и не знать ни одного казахского слова. Ну, разве что с вывесок, которые и русские понимали: ет-сут — мясо-молоко, нан — хлеб... А всякие сакральные выражения типа «коммунистык партиясын» носили транснациональный характер.

Мой отец, как я понял очень не скоро, был директором ремонтной мастерской, пышно именованной фабрикой, и жили мы в «сталинском» доме с видом на крашенный портик обкома. Сам обком был сизый, как голубиная грудка, а колонны белые. Слова «сталинский дом», кстати, произносились тогда примерно с тем же выражением, с каким сейчас произносят «императорский театр». Мы, юная казахская аристократия, низовых, так сказать, казахов, «чабанов», называли мамбетами — примерно то же, что у русских «ванька» или «валенок». Или «ватник» — аристократизм все время находит новые формы народолюбия. Эти мамбеты вызывали у меня неприязнь еще и тем, что их кличка «калбит», то бишь «вшивый», косвенным образом дискредитировала и меня. Хотя уж к моему-то семейству она никак не подходила. Мы жили в доме с ванной, каких в ту героическую пору в городе было не так уж много, мой отец ходил в шляпе, при галстук, при портфеле, говорил по-русски практически без акцента... Разве что звук «к» произносил, как бы слегка отхаркиваясь: кх.

Но однажды я зачем-то поджидал отца после работы у проходной, и он вышел очень respectable, со всеми аксессуарами: шляпа, галстук, портфель... А за ним тащился какой-то забуддыжистый гегемон в замызганной спецовке и нудил: ну, Сапар Мендыгалиевич, ну, в последний раз...

— Все, захончили, — через плечо отрезал отец. — Тебе в прошлый раз было ясно сказано: еще раз увижу пьяным...

Забуддыга понял, что все кончено, и с ненавистью процедил вслед отцу:

— У, калбитня... Мы вас ссать научили стоя!

И до отца это явно донеслось, но он сделал вид, что не расслышал.

Я тоже сделал вид, что не расслышал. Но все прекрасно понял: как ни возносись, среди русских ты все равно останешься человеком второго сорта. Конечно, никто из приличных людей тебе этого не покажет, но всегда найдется андерсеновский подонок, который скажет правду. И я почти бессознательно начал искать каких-то союзников, для которых и сами русские были бы не высшим сортом. И такими союзниками для меня оказались американцы. Когда я сталкивался с очередным бахваль-

ством, что русские первыми сделали то, другое, я всегда думал: а Эдисон это сделал раньше, а это придумал Винер, а это Шеннон, а Массачусетский технологический институт круче нашего «Интеграла»...

Разумеется, русофобом я не стал, у меня и друзья все русские, и жена русская, и дети русские, и пахал я на российскую оборонку до закрытия метро... Но это уже был, правда, мой личный кайф. Я на этих делах еще со школьного радиолобительства фанател. Диоды, триоды, гетеродины, емкости, индуктивности — это для меня были волшебные слова. Самому что-то намотать, спаять, потом связаться с таким же придурком из какого-нибудь Новосибирска — это для меня было как для альпиниста покорить семитысячник. И о чем же нам было с ним потом разговаривать, как не о том, кто из чего и как мотал и паял.

Собственно, и вовлек меня в эту секту сосед — народный умелец, у которого весь дом был заставлен раскуроченными приемниками, — из этого рудника мы добывали нужные детали. А каких недоставало, гнули и лепили вместе. Если не получалось, искали помощи у других чудаков — от этой бескорыстной страсти был не застрахован ни один общественный слой или возраст, она обходила только женщин. Интересно, что об индуктивностях и емкостях он имел представления самые фантастические — и при этом все у него работало. Наука необходима лишь посредственностям вроде нас.

Раз меня даже запеленговали, пришли из органов — оказалось, я работал на частоте аэропорта, отцу пришлось отмазывать. Но он все равно меня одобрял, говорил, что на войне он уцелел только потому, что в механике разбирался, мог пулемет разобрать. Поэтому его относительно берегли, только два раза контузило и пальцы на обеих ногах ампутировали, да и то он их отморозил. А мамбетов швыряли в эту домну, как солому, чтоб хоть еще на полчаса пламя поддержать да боеприпасы у противника подрастрясти.

А завтра, внушал мне отец, главной будет электроника. Он отчасти оказался прав, но кого в пацанские годы волнует завтра! Я насобачился переделывать советские приемники, чтоб на них можно было слушать джазовые передачи, голос моей тайной союзницы — Америки...

Я на этом даже и зарабатывать начал, но ради своих заокеанских друзей я бы и даром был готов потрудиться. И в девяностых, когда мы начали какими-то секретами с американцами частично обмениваться, я о некоторых своих хитростях с удовольствием рассказал нашим, как теперь выражаются, американским партнерам. И они похвалили за одно, за другое: вы, дескать, русские, это хорошо придумали. С тем оттенком, что, мол, надо же, дикари-дикари, а сумели нашу американскую таблицу умножения освоить — ведь все же на свете, оказывается, не русские, а американцы изобрели. Я им говорю: я не русский, я казах. А они спрашивают: а это кто? Я говорю: это вроде индейцев. У вас в Ю-Эс-Эй индейцы, а у нас в Ю-Эс-Эс-Ар казахи. Они сразу делают грустные лица: йес, йес, индейцы — это биг трэджиди. За грустные лица, конечно, спасибо, у русских по нашему поводу я никогда грустных лиц не видел, чуть что: мы сами не меньше пострадали. Они не видят разницы — самим пострадать от своей дури или пострадать от чужой. Быть, как говорится, субъектами истории или терпилами. Кстати сказать, когда мне хотели сделать комплимент, всегда говорили, что я похож на индейца, на араба, но никогда — на казаха. Мне и самому каким-то образом внушили, что чем меньше казашка походит на казашку, тем лучше. Да и наши степи, наши лошади, наши чабаны — это какой-то отстой — то ли дело прерии, мустанги, ковбои... Хотя все ковбои в наших зимних буранах в первый же день повымерзали бы. Я однажды среди города свой дом не мог найти.

В общем, я понял: для русских так ли, сяк ли, но мы существуем, а для американцев нас и вовсе нет. Да и если вспомнить, как славный американский парень Джек Лондон воспевает кулак белого человека... Кого он месит, этот кулак? Нашего брата косоглазого.

Еще одно впечатление: американцы не умнее нас, а в конечном итоге все у них лучше. Разумеется, в этом мы должны обвинять себя, но уж очень не хочется. В итоге меня покинули последние угрызения, что я Госпремию получил как бы против американцев. Обломов нашу систему называл «Возмездие мертвых», она должна была нанести ответный удар после американского ядерного удара. Американцы называют ее «Мертвая рука». То есть наши города превращены в радиоактивный пепел, люди — в облачка плазмы, и тут начинают оживать подземные ракеты с ядерными боеголовками. Сами собой разъезжаются крышки, сами собой ударяют огненные струи из сопел... И ракеты уносятся туда, куда им приказали их исчезнувшие хозяева. И превращают в облачка плазмы их убийц.

Звучит все это страшно, но, как было справедливо замечено, людей от взаимного истребления удерживает только страх. Ни у кого не должно оставаться шансов спастись в одностороннем порядке — только так у мира есть шансы спастись. Сева запустил очень оптимистическую теорию, что все зло от властолюбцев и разрушителей. А я подозреваю, что и самые средние люди готовы на убийство, если это им ничем не угрожает: нэт человека — нэт проблемы, а нэт целой страны, так и еще спокойнее.

Сами понимаете, ракеты как-то должны узнать, что их хозяев больше нет, что пора наносить ответный удар без них. Значит, от хозяев должны прекратиться круглосуточные подтверждения: мы живы, мы живы, мы живы... Должен резко взлететь уровень радиации, температура, должна страшно дрогнуть земля — об этом ракеты тоже должны узнать. А супостат, как выражался Обломов, естественно, все наши сигналы будет изо всех сил подавлять. Но мы как-то все равно должны их слышать сквозь его глушилки — примерно как в вокзальном шуме выделить нужный голос.

Если видеть в нем только один из шумов, отделить его от фона невозможно. Но если он выпевает какую-то мелодию или, скажем, читает вслух «Евгения Онегина», то нам удастся его слышать: мы следим не только за звуками, но и за смыслом. Я и придумал аналоги мелодии и смысла в терминах радиоволн — как их порождать и вылавливать.

Я и сейчас в этих делах разбираюсь лучше всех, но теперь везде стали пихать цифратину, а она убивает выдумку. Проблему Легара этим добились — и убили. И меня от нынешнего фронта отодвинули — какой интерес покорять горы на вертолете. Я бы мог эту бодягу освоить, но противно, все равно что идти на службу к убийце своих детей. Меня и перевели в советники — делать внушительный вид. Вроде получится, тем более что и седина стала помогать.

Короче, доживать на обочине истории можно было бы вполне сносно. Скучно, но сносно. И тут меня пригласили в родной город, где я не был с конца восьмидесятых. Там же было, как всегда и везде: умники бузят, прислуга рвется на место хозяев — ватники и мамбеты расплавляются. Я родителей сразу оттуда вывез и больше там не бывал. И вдруг получаю торжественное письмо: меня как знатного земляка приглашают выступить перед студентами. Все оплачивают — почему не слетать?

Наша родная советская власть любой романтический город старалась превратить в Лениносканск, а нынешняя знать подражает американскому захолустью. Всю красоту и поэзию вбивает в землю гибридами сундука и аквариума. И я разинул рот, узрев, что в нашей заречной степи, куда не забредал и кочевник, бесстрашный пасынок природы, громады стройные теснятся. Мы — я имею в виду сегодняшнюю Россию — возвели в идеал предельную заурядность. А там не было ни одного здания или небоскреба, в которых бы архитектор не стремился к какой-то неординарности. Конечно, мотив идеализированной юрты сквозил то там, то сям, но до пошлости было пока еще далеко. И полузабытые казахские орнаменты тоже проступали то тут, то там, но пока что штампом тоже еще не сделались.

И громады не теснились, это я зря сболтнул. Вот уж где был размах так размах — улицы как площади, площади как даже и не знаю что. Вот уж что было сотворено не корысти ради, а чтобы все разинули рты. Я, по крайней мере, разинул. Я же пом-

нил свой Лениносранск. Но там и советскую часть как-то приподняли — каменная отделка, небанальные современные вкрапления... Пришлось специально просить водителя, чтобы показал мне трущобы, где жил кое-кто из моих детских дружков. Кое-что я бы сберег для музея: ободранные развалюхи, бегают парочка собак, непросыхающая лужа среди жары...

Постоял со слезами на глазах, да еще и водитель харкнул по-мамбетовски, как в старое доброе время, — я его чуть не расцеловал. Но худенькая доценточка, которую приставили меня сопровождать, отозвала его в сторонку и что-то ему выговорила по-казахски. В нее я просто влюбился — в ее интеллигентную изможденность: наконец-то и мы, казахи, научились утонченности.

И в отеле — этоко трехэтажное яйцо Фаберже — все тоже было по высшему европейскому разряду, хотя за окном сияли какие-то новые эмираты. И шведский стол был не хуже шведского. Только с примесью национального колорита: айран, кумыс и баурсаки, это такие пончики из кислого теста, их у нас называли бурсаки. Я всех этих диковатых деликатесов тоже отведал со слезами на глазах. А потом еще целый день «бешбармачил»: приемы, фуршеты, ужин в саду под сенью небоскребов, в общем, Бернард Шоу в Стране Советов. Народ страдает, а я роскошествую с начальством. Да, я не видел ни чабанов, ни горняков, что в аулах делается, не представляю. Вряд ли, правда, они особенно умирают с голода, иначе бы властолюбцы об этом звонили на весь мир, они любят себя выдавать за народных заступников. Русских там тоже превратили в евреев — отодвинули от власти на технические должности, что лично для меня идеальный вариант. Тем не менее я все-таки готов и по поводу мамбетов, и по поводу русских делать грустное лицо, как это делают наши американские партнеры — вот, пожалуйста, я скорблю. Но волновало меня совсем другое: в преподавателях, в министрах, в студентах не было НИ МАЛЕЙШЕЙ ВТОРОСОРТНОСТИ. А если ее нет в аристократии, значит, скоро не будет и в массе. И это главное: ощущение второсортности — единственное, что может убить народ.

Прислуга в отеле была вышколенная и говорила инглиш лучше моего. «Золотая молодежь» вся была с европейскими дипломами — при этом кое-кто пел под домбру так, что мороз подирал. В моем детстве-отрочестве казахская музыка годилась только на передразнивание — один палка, два струна, а тут я наконец понял, что это целый нетронутый пласт неотшлифованного человеческого гения. И чинопочитания, которым грешили мои соплеменники, я тоже не заметил. Министр, который вручал мне грамоту, был интеллигентный, ироничный, сказал, что ему очень приятно награждать ученого, а не чиновника. Кстати, у него же на приеме присутствовал министр счастья и толерантности Объединенных Арабских Эмиратов. И еще какой-то чин из Турции. Хвалил казахов за то, что они твердо шагают в сторону тюркского мира. Сам по манерам корректнейший европеец.

А гуманитарная деканша, у которой мы пировали в вечернем саду, была, наоборот, несколько хабалистая. Ну так и что? Главное, что не второсортная. Пробуждение национального достоинства вовсе не переход в ангельский чин, а всего только переход от угасания к жизни.

Зато в кафешках чистота, вежливость, по-русски говорят прекрасно, по-казахски, вероятно, тоже, но этого я оценить не мог. Зато у той же деканши в первый раз попробовал конины, по поводу которой некоторые эстеты моего детства любили изображать рвотный рефлекс. Оказалось, очень вкусно. И студенты со студентками были просто прелестны — казахи оказались красивым народом, когда освободились от чужих стандартов. Лица умные, живые, смелые... хотя вопросы задавать мне побаивались. Меня так торжественно представляли доктором технических наук, как будто это Бог знает что. Но там неофициально очень ценятся российские дипломы, достоинство в спесь вроде бы не перешло.

Хотя где-то оно наверняка живет, властолюбцы везде ждут своего часа.

А на последнее выступление в университете — нам такие фасады, арки, такие залы и не приснятся!.. Все-таки нельзя не восхититься питерской архитектурной ма-

фией: за целые десятилетия сумели не пропустить НИЧЕГО талантливого! Мы-то воображали, что наш главный враг — власть, а оказалось-то — серость...

Так вот, на последнее выступление мне дали в пару писателя-земляка — так мы и сидели в креслах на сцене вполоборота друг к другу. Он когда-то написал исторический роман, был обвинен в национализме, в идеализации феодального прошлого, отовсюду изгнан и так далее. Но теперь роман увенчан всяческими лаврами, автор признан основоположником новой казахской литературы, недавно вышло подарочное издание — ну, еще раз и так далее. И все на него смотрели с гораздо большим пиететом, чем на меня. В том числе и я.

После выступления мы на очередном банкете сели рядом, и оказалось, что свои школы жизни мы начинали в двух шагах друг от друга, только он лет на десять раньше. Но поскольку мы сейчас рассказываем сказки, не буду заморачиваться с точными именами-датами, буду придерживаться принципа «сказка ложь, да в ней намек».

Так вот, я учился, скажем, в школе имени Кирова, а он в школе имени Джамбула. Джабаева. Которого мы тоже проходили: чтобы ты, малыш, уснул, на домбре звенит Джамбул. И еще: с детской голубой поры получаешь ты дары. Их страна несет с любовью в час, когда дрожит звезда... И так далее. Но старшие пацаны воспевали Джамбула на мотив американской песенки «О, Сан-Луи, передовой колхоз, он первый вывез на поля навоз». Получилось примерно так: «Джамбул Джабаев спустился с гор, вместо кумыса он пил кагор. Джамбул Джабаев стилигой стал, свою домбру он на джаз сменял. Домбра играет, и джаз пищит, Джамбул Джабаев слегка пердит». Оцените эту деликатность: слегка.

Ну, и в школу имени Кирова отцы приходили в шляпах, а в школу имени Джамбула в треухах, чуть ли не верхом, с камчой. А матери в монистах, в цветастых платьях, обшитых продырявленными монетами. Иногда даже царскими пятаками.

Но моего нового знакомого в казахскую школу отдал пиджачный отец. Этим он заранее обрекал его на сугубо казахскую карьеру. Был такой тип номенклатурного начальника-казаха, бая, его выдвигали за то, что он нацкадр. В каких инкубаторах их высиживали, понятия не имею, но отец таких презирал. Однако мой основоположник пошел не по партийной, а по филологической линии, поступил на казахское отделение филфака. В принципе это было тоже довольно уютное гетто: конкуренции нет, изучай литературу на казахском языке... Ею мало кто интересуется, вот и хорошо. Но мой земляк начал писать прозу на казахском. В принципе и это дело денежное, если не гнаться за читателями. В книжных магазинах книги на казахском выцветали годами. Образованные казахи читали по-русски, а необразованные вообще не читали, но советская власть блюла видимость: у нас все культуры равны. Я как-то видел уцененное собр соч Шекспира на казахском за двадцать копеек.

Основоположник и сам читал в основном по-русски — про всяких кочевников. Про монголов, про кипчаков, про половцев, печенегов... И удивлялся, до чего те были грозные, а его соплеменники в сравнении с ними прямо-таки пришибленные. Как будто какая-то другая порода. А ведь исторически казах означало что-то типа удалец, вольный человек... И наконец до него дошло, что казахи — те же самые кипчаки и половцы, только ПОБЕЖДЕННЫЕ. Их сначала победили, а потом согнули. Хотя и далеко не сразу, разные ханы не раз восставали, раскручивали пресерьезнейшие войны. Причем, разумеется, и своих не щадили, за примиренческие настроения выжигали целые аулы, могли годами устраивать партизанские набеги. Их иногда и в школе проходили — как восстания против царизма. Хотя на самом деле это были восстания против российской колонизации, а она подавалась как что-то безоговорочно прогрессивное, сплошная дружба народов.

Мой новый кореш и решил воспеть эти восстания как своего рода отечественные войны, как борьбу за национальное достоинство и так далее. И навалил толстенный эпосище. Представил в издательство — отказали: романтизация ханства, урон дружбе народов — все как положено. Пока еще келейно, промеж своих. Но он не угомонился, перевел свой манускрипт на русский и двинул в Москву. Там он нашел

каких-то союзников по борьбе с имперским духом, что-то убрал, что-то дописал — в итоге роман вышел.

Вот тогда-то за него на родине взялись всерьез, раз он по-хорошему не понимает. Устроили публичное судилище, а прокурором выступил казахский классик. Патриарх этот и сам был бабай непростой. Он и так-то родился в нищей юрте, а когда ему было лет где-то пять или шесть, во время очередного мора он еще и потерял сразу и отца, и мать. И так он намаялся по чужим юртам, что и в самых мафусаиловых годах не мог слышать о степной солидарности. А потом еще и намыкался в батраках, так что для учения о классовой ненависти вполне созрел. Но в город, где он всего этого набрался, он попал не из-за этого. Он, поскольку ничего другого не видел, считал существующие порядки нормальными. Перепахал его другой случай.

В их ауле умер единственный сын у одного бедного старика, а вдова осталась с ним жить в той же юрте. Как-то она его обихаживала, может, и привязалась, но пошли слухи, что они того, сожительствуют. Устроили суд и приговорили обоих ни больше ни меньше как к смертной казни. Распоряжался всей процедурой бывший бий — судья. Биев царская власть уже отменила, но авторитет остался. Вместе с самым большим стадом. Этот же авторитет распоряжался и казнью. На концах короткой веревки завязали две петли, веревку перекинули через лежащего верблюда, любовников, или кто они там были, усадили рядом с верблюдом с разных сторон и надели петли им на шею. А потом огрели верблюда камчой, чтобы он встал. А они повисли.

Женщина задохнулась довольно быстро, а мужчина кончиками пальцев доставал до земли и все подергивался и подергивался. Извините, что порчу вам аппетит, но к народным обычаям нужно относиться с уважением. В конце концов вершителя справедливости это надоело, он велел двум джигитам раскатать старика и сбросить его с обрыва. Это помогло. Но юный батрак в ту же ночь ушел пешком в Орымбор — так казахи называли Оренбург.

Орымбор поразил его величием и роскошью. Он думал, что богатеи, живущие в КАМЕННЫХ ДОМАХ, его и в упор видеть не пожелают, но в полиции его выслушали. Да еще и переводчика нашли, с виду тоже настоящего барина. В аулах таких ученых казахов в городской русской одежде называли довольно насмешливо: жирек-етек, одежда с разрезом, но здесь пацан глазам не мог поверить, что из-за него такого важного человека побеспокоили.

И случилось чудо. Организаторы суда Линча загремели на каторгу. Так что будущему соцреалисту это вбилося на всю жизнь: первое в его жизни справедливое возмездие принесли русские. Они же научили его читать, писать и ненавидеть богатых уже вполне сознательно. Да еще и вместо лошадей обслуживать станки. Тогда это было покруче, чем в наше время из механизаторов выйти в академики.

Тогда же его еще раз перепахали горьковская «Мать» и некрасовские оплакивания народной доли. Это были недостижимые образцы до конца его дней — и что бы он был без русских? Темный батрак. Никогда бы он не написал свой великий роман «Дочь» — кстати, не такой уж плохой, если бы не соцреалистические штампы: путь в революцию простой казахской девушки и все такое прочее. Поэтому и алашординцы, это такие казахские кадеты, ему не понравились. Сплошные жирек-етек, а на съезде у них ненавистные баи сидят развалясь, будто хозяева. А он желал им мстить. Оттого и пошел с большевиками поднимать бедных против богатых. Поначалу все пошло лучше не надо. Беднота стала требовать от баев платы за отцов и дедов — и те платили. Разрешили женам уходить от богатых стариков к молодым без возвращения калыма — те и это глотали. Он и сам тогда женился под лозунгом «Долой калым!». У баев отнимали лучшие пастбища, а продналог требовали скотом. И те снова безропотно пригоняли, сколько велено. В общем, все шло, как в сказке: все бедные были братьями по классу, а все классовые враги именовались одним словом — гады. Странники национальной независимости были против истребления баев, значит, они тоже были гады. Понемногу он и среди большевиков прослыл леваком, а потому и кое-кого из своих начал подозревать в сочувствии к гадам.

К тому времени он уже был членом волкома — волостного, не волчьего комитет, в газете отчитывался о достижениях. В волости было три коммуниста, а стало пятнадцать, рост пятьсот процентов. Как один из считанных грамотных казахов он был корреспондентом нескольких большевистских газет... Если не путаю, «Кедей сози» — «Бедняцкое слово», «Энбекши казах» — «Трудовой казах», «Кзыл Казахстан» — «Красный Казахстан». Носило его по всей Сары-Арка и наконец занесло в какой-то городишко, который на следующий день взяли колчаковцы. Кто пытался отстреливаться, а мой герой был, конечно, среди них, частью перебили, частью взяли в плен. Почему его не расстреляли — загадка, в тридцать седьмом ему это припомнили, но скорее всего, хотели придержать до каких-то переговоров. Или не знаю. Потому что содержали их при нашем степном морозе в нетопленном бараке, там половина перемерла естественной, так сказать, смертью.

Победа колчаковцев, возможно, сделалась бы окончательной, если бы армию не нужно было кормить. То есть заниматься реквизициями, а проще говоря, грабить. И белые были вынуждены грабить всех, а красные старались грабить богатых и делиться с бедными. Да еще и обнадеживать, что завтра им вообще все достанется. Поэтому красные начали одолевать. Но белые и тогда остаток пленных не расстреляли, а по снегу погнали с собой. Тех, кто падал, разумеется, достреливали. Конвоиры от всех этих дел до того одурели, что если издали видели всадника, то начинали держать пари, кто его ссадит из винта. Так что и сбежать от них было не так уж трудно, да только куда побежишь по снегам и буранам? Но этот малый — отчаянная голова — решился и каким-то чудом, весь обмороженный, кожа да кости, выбрался к красным.

Для строя его признали негодным, но доверили расстрелять пленного: «Расстрел белого тоже боевое крещение, поздравляем!» Он, правда, малость оконфузился, потратил две пули из маузера. За что получил выговор: двумя пулями можно было двух беляков уложить. «За тобой должок — в следующий раз будешь расстреливать из лука!» — славная была комса. Настоящие милисинеры. Ценили в нем поэта, определили в комсомольскую газету «Лениншил жас». Когда он заболел — считалось, от червей, коими американцы заразили консервы, — так кто-то ему посоветовал пить горячий деготь, и все прошло. Тогда бороться с голодом помогала американская АРА, и надо было штатникам показать, что нас яичным порошком не купишь.

Потом его отправили на съезд в Москву, дали направление в партийное издательство. Там тоже отнеслись по-большевистски. Нашли эксперта, знающего казахский язык, — тогда казахов, кстати, еще называли киргизами. И наконец ознакомили молодого поэта с заключением: стихи, типа, идейно выдержанные, классовый подход правильно прилагается к сегодняшнему конфликту батраков и баев, но не распространяется на исторические конфликты ханов и рядовых кочевников. Образность, правда, стереотипная, отделка оставляет желать лучшего, но от вчерашнего малограмотного батрака и нельзя требовать слишком многого, сборник следует напечатать как первую ласточку новой, социалистической литературы.

И резолюция синим карандашом: отобрать лучшее и издать — И. Сталин.

С тех пор никто не мог убедить его, что Сталин знал о репрессиях и о Великом джуге — это казахский голодомор. Вымерла не то треть, не то четверть населения — как в Белоруссии при немцах. Только после этого казахи сделались национальным меньшинством в своей республике. Но национальный классик считал, что все это творили баи, пробравшиеся в руководство. Разве бедняки стали бы конфисковывать скот, если его нечем кормить? Если бы провели разбаивание без либерализма, вычистили всех до третьего колена, то не было бы ни тридцать седьмого, ни голода.

И второе, что ему вбилося — не хочу сказать: втемяшилось, — классовый подход должен распространяться и на историческое прошлое. А тут дерзкий мальчишка его опять идеализирует, говорит о едином народе...

А где ленинская теория двух культур?!

Мальчишку отовсюду поперли, но помыкался он не очень долго — грянула перестройка, потом независимость...

И вот он лауреат, основоположник новой казахской литературы. А я кто? Кто я теперь, я Вечный Жид отныне, я Агасфер, Летучий я Голландец...

Мне в натуре стало ужасно грустно: я ушел к победителям и сделался каким-то опереточным индейцем. Что такое доктор технических наук? Их тысячи! А он остался со своим народом и вошел в историю. Основатель новой литературы — это тебе не хрен собачий!

А я ведь на роль эталонного нового казаха подхожу куда лучше: я ведь принадлежу к «воинам» — узколицым, горбоносым... А он к «судьям» — широколицым, с круглыми мягкими носами...

Но за боевыми его качествами мне не угнаться. Мы сидели рядом на очередном банкете, и он был очень вальяжен, настоящий аксакал. А зала была не то чтобы очень роскошная, но ужасно элегантная, никак не верилось, что я в родном Лениносканске. Какие-то современные скульптуры в духе Генри Мура, гигантские икебаны, причудливые линии, мотивы каменного саксаула...

И народ красивый, раскованный... И меню на казахском и на английском...

И тут до меня начало доходить, что мы, казахи, не успели избавиться от второсортности по отношению к русским, как добровольно устремились за новой второсортностью по отношению к американцам. Для которых мы просто не существуем. Меня самого они принимали за индейца, а один английский еврей, Саша, что ли, Коэн снял довольно потешный фильм, как он катается по всем Штатам и выдает себя за корреспондента казахского тиви. Рассказывает янкам невообразимую ахи-нею, что в Казахстане рубят головы гомикам, что казахские ученые открыли, будто у женщин мозги как у белки... Возит с собой в чемодане живую курицу, угощает сыром из женского молока... А за казахский язык выдает чуть ли не иврит... А сам Казахстан снимает, кажется, в Румынии...

И все это глотается! До такой степени всем на нас начхать: что-то этакое диковинное — и хватит с нас. Я еще в самолете обратил внимание: на пакетике с солью написано сначала по-казахски «туз», потом по-английски «солт» и только потом по-русски «соль». Почему английское слово впереди русского? А на уличных табличках вообще: повыше «кошеси», пониже «стрит», а русской улицы вообще нет. Почему? Английский главнее? Да. Так именно поэтому его и надо притормаживать. А не пропускать вперед.

Русские нам уже не опасны, они нас уже не поглотят — в культурном смысле. Они теперь сами второсортные. И значит, нам нужно с ними объединиться. Вообще нужен новый интернационал — второсортные против первосортных. А уж русским объединиться с казахами сам Бог велел — только хватит вам из себя строить старших братьев: мы их ссать научили стоя, они без нас за юрту срать бегали...

Может, и бегали, но больше не бегаем. Вам хватит напоминать о ваших благодеяниях, а нам хватит поминать о ваших злодеяниях. О жертвах скорбеть, себя не забывая. Как мы скорбим о наших собственных близких. А не протаскивать месть под видом скорби. Властолюбцы на это большие мастера — сострадание превращать в оружие. А мы должны все ужасы подавать как общую трагедию, как общее безумие. Ведь автор романа «Дочь» начинал как добрый одаренный пацан. А потом хватался расстрелом. Пациентам общего дурдома не пристало кичиться, у кого обострение протекало в более мягкой форме. Пора объединиться против общего врага, против нашей общей исторической второсортности. Может, даже вспомнить, что мы когда-то были улусами в общей империи.

Я уже к тому времени хорошо принял — настоящий, кстати, шведский «Абсолют» — и попытался что-то втолковать земляку-основоположнику. Но он чуть услышал слово «второсортность», как тут же окаменел: я никогда себя второсортным не считал! И отключил связь.

Ладно, думаю, ты основоположник, но и я могу сделаться основоположником. Для собственной работы я уже не гожусь, а раскрутить какой-нибудь местный фронтирчик, собирать способных ребят и выводить их хотя бы на уровень нашего «Интегра-

ла» мне вполне по силам. И Мохов наверняка поддержит — не палестинцев учить, а казахов. И превращать их в своих друзей. (Он, кстати, и поддержал.)

На этом же банкете присутствовал и министр, который меня награждал. Разумеется, его окружали какие-то прилипалы, но, к чести его или моей, он сразу их раздвинул, когда увидел, что я к нему приближаюсь со своим бокалом кьянти. Про второсортность я уже не заикался, а в остальном он был сама предупредительность. Конечно, Россия для них очень важный партнер. И научное сотрудничество — это было бы прекрасно. Если у меня возникнет желание у них поработать, так милости просим, это было бы для них большой честью — и все это с невероятной проникновенностью. У них вообще есть программа возвращения соотечественников, можно было бы для меня открыть специальную кафедру. Или даже небольшой институт. Для начала. А там как пойдет.

Институт — для родоначальничества это идеально: наверняка после смерти ему присвоят мое имя. «Интегралу» же наверняка присвоят имя Обломова. Но я решил сначала семестрик-другой почитать лекции, прозондировать кадровый состав, ресурсы, инфраструктуру, а потом уже...

На прощание мой земляк как уже состоявшийся основоположник начинающему подарил мне раритетное московское издание его эпопеи с размытым чернильным штампом изъятия из библиотеки, что-то типа «Перед прочтением сжечь». Но неведомая библиотечарша сохранила томище от костра с риском самой угодить на костер.

Я начал читать сразу же по возвращении в свой яйцевидный отель, хотя уже был вымотан до предела, да к тому же и принял внутрь изрядно, хоть и при шикарной закуске. Налегал, кстати, из сентиментальных чувств по-прежнему на конину. И на книгу налег тоже в полной размягченности — припал, так сказать, к истокам. И это оказалось невероятное барахло.

Штамп на штампе. Все джигиты стройные и плечистые, у всех девушек смех как колокольчик. Все ханы гордые и жестокие, одного от другого мама родная не отличит. Все жырау старые и мудрые — я, кстати, так и не понял, чем отличается жырау от акына. Тем более что из века в век жырау твердит хану одно и то же: не презирай черную кость, вы дети одного народа. Как, возмущается хан, я и эти мамбеты — братья!.. Да, говорит жырау и исполняет такую песню, что у хана катятся слезы. И он прощает аул, уже приготовленный к вырубке. В каждой части имеются еще и клоны верных слуг, добрых мамаш, мудрых аксакалов...

Я только в самолете начал приходить в себя. И вот из-за такой, думаю, белиберды мой земляк бросал вызов, терял карьеру... И становился основоположником...

Но где-то над бывшим Казанским ханством я подумал: а что такого, многие основоположники были не лучше. Кто сейчас читает какого-нибудь Третьяковского, но в истории русской литературы он останется. А тогда и я могу остаться в истории казахской техники — как какой-нибудь Можайский, которого знают только в России.

Жена сначала была категорически против того, чтобы я становился основоположником, но гравитационному полю национального возрождения противиться невозможно. Через неделю она уже сама начала просить: хоть бы ты скорее свалил в свой Казахстан.

В гостевом доме с камином я жил как полубог, хотя читать пришлось вещи довольно элементарные, почти научпоп — национальное возрождение востребует прежде всего мифотворцев. Нужно было разворачивать подготовительные курсы, минимальные лабораторийки — дела много, только поспевать. Но среди соратников начались, как выражались при старом режиме, отдельные настроения, реплики в сторону, что наезжают, мол, тут всякие гастролеры учить коренное население, а сами даже родного языка не знают, отсиделись по Ленинградам, пока патриоты боролись за свободу...

Я понял, что мне нужна глубоко эшелонированная команда, чтобы еще в школе глубоко перепахать одаренных кизимок и балалар, как в пору моего детства на-

зывали девочек и мальчиков. Кстати, и по части сексуальной свободы они вроде бы шагнули в Европу, но убедиться самолично я не решился — уж больно много было желающих за мной приглядывать. Да лично для меня и одного слишком много, а из эталонной Америки несется этот бабский террор: харассмент, харассмент... Вдруг меня решат сделать по этой части основоположником?

В общем, я увидел, что задачу я перед собой поставил непосильную. А если бы даже я за черт знает сколько лет, если бы дожил... Правда, может, выгоднее было бы и не дожить, недожившим, то есть недоопозорившимся, увековечиться легче. Так вот, если бы я сумел подготовить в моем направлении сколько-то там хороших инженеров, так им бы потом понадобилось и поприще, а это уровень уже и не министерский. Правда, я только что услышал послание Обломова из-за гроба — тоже своего рода мертвая рука. Что нужно забабхать такой проект, чтобы все рты разинули. А то мы, казахи, пока что преодолели второсортность только в ординарном. Но для самоуважения требуется еще и сотворить нечто неслыханное. И тут бы как раз и замутить что-то вместе с русскими, у которых есть для этого все, кроме мечты. Кроме какого-нибудь ученого авантюриста типа Обломова.

Но тут же я подумал: ведь и сейчас вся слава достанется русским. А мы опять окажемся младшим если не братом, так партнером. А любому народу лучше быть первым в своем ауле, чем вторым в мире.

В общем, я убедился, что мне по силам только создавать гравитационное поле для отдельных романтиков. Вытаскивать их из серости. Хотя как и это делать, не очень понятно. Вот в таком вот состоянии между небом и землей я сейчас и пребываю. Довольно часто летаю на родину, но тоже лучше всего себя чувствую в полете. Вот так бы летел и летел. Только иногда хочется полежать на облаке — уж очень пышно взбиты эти перины.

Бахыт улыбался, пряча неловкость, будто случайно уцелевший камикадзе.

— Для нас, для камикадзе, это, пожалуй, и есть самое лучшее — лететь и не приземляться, — сказал Олег, чтобы прервать затянувшуюся паузу. — Может, еще по графинчику саке? Пока за окнами беснуется буря.

Хорошенькая гейша в пилотке из пионерского галстука обернулась необыкновенно скоро.

— Ну что, друзья, — Олег поднял теплый тяжеленький стаканчик. — Мы убедились, что в своем внутреннем мире каждый действительно прав и действительно заслуживает сострадания.

— Я все ждала: обо мне кто-нибудь наконец вспомнит? Нет, все на эту дурочку облизывается, — под рыжим Галкиным чубчиком снова проступила обиженная хорошенькая болонка.

— Галочка, ну что ты, мы, наоборот, хотели выпить, чтобы больше не отвлекаться. Итак, выпьем за то, чтобы вечно лететь и никогда не приземляться! А теперь слово нашей дочери полка. Единственной женщине среди нас, мужланов. Другой не было и не будет.

Я жила на проспекте Просвещения и, на свою беду, была самой просвещенной в классе. И ужасно тосковала, что все мальчишки глупее меня. И в институте я целые годы была счастлива, оттого что меня окружали парни, которыми можно было восхищаться. Тем более что я среди них была единственная девушка. И я очень оберегала эту свою монополию. А потом они один за другим начали жениться. И не на мне. И все они обожали нашего общего учителя, говорят, гения, но я в этом не разбираюсь — для меня и Сева гений, и Кот гений, и Бах... Да вы все, по-моему, очень умные. Но вы же мне внушили перед ним такой трепет, что когда он меня насиловал, я и пискнуть не смела. Я надеялась, что кто-то из вас как-то за меня вступится, но вы все делали вид, будто так и надо.

От громового удара все припало к столу, но звон разлетевшихся стекол чуть-чуть всем вернул сознание: если есть чему лететь, по чему разлетаться, значит, мир еще не полностью обрушился.

«Мертвая рука!» — сверкнуло у Олега в голове, и он ринулся к выходу: удар грянул вроде бы там. Гейша в своей аккуратной пилоточке, осыпанная мелкими сверкающими осколками, лежала ничком ногами к двери, через высаженное стекло которой ее стегали водяные струи, размывая расходящееся по японским ирисам кровавое пятно (*Пит Ситников... Тетка в луже крови...*). Но это было еще не самое чудовищное. В образовавшемся проеме вниз головой висела черная человеческая фигура, и Олег успел увериться, что сошел с ума, прежде чем успел опознать перевернутого самурая, приветствовавшего гостей наставленным коротким мечом.

С окровавленного конца самурайского клинка ветер срывал алые капли и мелкими брызгами разносил их по вестибюльчику.

Не замечая хлещущих струй, Олег упал на колени перед гейшей и, не опасаясь порезаться, смахнул с нее стекла. Середина кровавого пятна находилась под правой лопаткой, и ткань в этом месте на глазах темнела и набухала. Олег попытался придавить ладонью невидимый кровавый источник, но кто-то отбросил его руку.

Галка! Она уверенно ввела указательные пальцы в разрез блузки, которого Олег не разглядел, и разорвала японские ирисы от воротника до полы. На белой окровавленной спине под черным узорчатым лифчиком открылся небольшой вертикальный разрез, из которого толчками выдавливалась темная кровь.

— Платок! — Галка, не оглядываясь, протянула ему руку требовательным жестом хирурга, и Олег суетливо нашарил в пиджаке сложенный платок и вложил в ее пальцы. Галка накрыла платком разрез и натянула на него упругий лифчик.

— «Скорую» вызвали? — она распоряжалась, как в медсанбате.

— Да, да, — страдальчески прогудел Мохов с мобильником в руке.

За ним виднелись потрясенные лица Грузо и Кацо — их бригада как-то сама собой оттеснила местный персонал.

Бедная гейша слегка зашевелилась и застонала.

— Потерпи, милая, потерпи, тебе лучше не двигаться, — Галка с материнской нежностью погладила ее по ирисам окровавленными руками, но раненая, кажется, этого не почувствовала, а только стонала все громче и громче.

Вбежавшая тройца с носилками всех отогнала, чем-то прозрачным уколола и чем-то широким перемотала бедную девушку, уже стонавшую совсем громко и даже лицом вниз задававшую какие-то вопросы, и так же бегом унесла ее под дождь, накрыв оранжевой клеенкой. Олегу пришлось выйти наружу, чтобы отвести в сторону повисшего на каких-то кишках довольно тяжелого самурая.

— Так что с ней, она будет жить? — требовательно крикнула им вслед Галка, и один из носильщиков крикнул через плечо сквозь шум дождя:

— Ничего страшного, порез не проникающий, ребра целые.

Когда же выбитый проем в двери удалось затянуть тремя видами горы Фудзи, окровавленные руки отмыть с мылом, а затем снова рассестись, перевести дух и ощутить холод от мокрой одежды, Олег снова поднял тяжеленький остывший стаканчик с саке:

— Ну, чтоб она была здорова!

И все как-то даже суетливо бросились чокаться, каждый старался опередить другого, всячески выказывая нежность и преданность.

Вот что значит, стражлось что-то действительно подлинное!

— Да, так на чем мы остановились? Выпьем за то, чтобы вечно лететь и никогда не приземляться!

ДОЧЬ ПОЛКА

Бетонные львы под фонарем по-прежнему наивно тарасили свои белые крашенные бельма, а их залихватские завитушки хвостов были вздернуты так игриво, что на миг ему сделалось грустно: вот и еще одна утрата...

И тут же на плечи навалилась такая страшная тяжесть, что он поспешил опуститься на черный газон, пока она не успела его раздавить. Тяжесть некоторое время еще повдавливала его в землю, а потом отпустила, и он понемногу начал осознавать странность происходящего: он лежит на боку на газоне под черными силуэтами деревьев. Он попробовал встать — невесть откуда возникшее гравитационное поле вроде бы не препятствовало. Но для каждого шага приходилось делать отдельное усилие, и как-то становилось сомнительно, надолго ли этих усилий хватит.

Наверно, ослабление мышц мозг и воспринимает как усиление тяжести. Он старательно дошагал до прилично освещенной детской площадки и тяжеломерно плюхнулся на скамейку. Горки в форме слоновьих хоботов, будочки на курьих ножках, ракеты с дачно-сортирными окошечками — на всем были намалеваны акулы, крабы, осьминоги, как будто он погрузился в подводное царство.

Вроде бы он должен был испытывать страх — какой-то приступ неведомо чего, — но он понимал это только умом, как тогда в тундре, когда он едва не замерз. И встряхнуть себя словом «мама» тоже не было ни желания, ни возможности: мамы давно не было на свете. Да и про Галку думалось одним только чистым разумом, словно не про себя.

Галка позвонила ему на следующий же день после похорон Обломова:

— У тебя что, правда такая задница? — в голосе сквозь превентивную ершистость слышалось искреннее сочувствие.

— Какая «такая»? Задница как задница.

— Не валяй дурака, ты же понимаешь, о чем я. У тебя что, правда жена на Донбассе?

— Правда.

— А сын ушел в музыку?

— В легенде да. А в реальности он лежит в психиатрической больнице за лаврой. Убогие у Бога под боком. А Костик, кстати, лежит в палате номер шесть.

— Очень тебе сочувствую... Такой ребенок был чудный...

— Мы все когда-то были чудными ребенками. Но мы сумели выдержать жестокость и подлость мира, а он не сумел. Теперь он лысый, иссохший, рот ввалился — в общем, чистый дух... Он вставные зубы боится туда брать, чтоб не украли. Так что не очень отличается от тамошнего контингента, а это хроники, алкаши, зэки... На них и покрикивают, и попикивают — как в тюрьме. Костя все старается делать с опережением, чтоб к нему не прикасались. В основном лежит на койке среди двадцати таких же богооставленных и читает что-то неземное. Типа Онеггера «О музыкальном искусстве», Пуленка «Я и мои друзья». Стравинского «Диалоги». Письма Моцарта. Письма Дебюсси. Воспоминания о Рахманинове. Переписку Мусоргского с этим чертом, Голенищевым-Кутузовым. Говорит, что таких высоких чувств никогда не встречал в отношениях мужчин и женщин.

— Это понятно, вы же, мужики, такие возвышенные... И как же твоя Светочка его в таком положении бросила?

— Ее позвала История. Она всегда любила помогать беспомощным, а теперь поняла, что самые беспомощные — это мертвые. Она верит во всю эту лабуду — ну, что человек живет, пока его помнят, и так далее. Вот она и воскрешает память, собирает рассказы, вещички. А передачи Костику и я могу носить.

- И что, она все российские кладбища хочет воскресить?
- Нет, только тех, кто, по ее мнению, пал за Родину. Ну, и еще попался ей на глаза.
- Она у тебя что, совсем чокнутая?
- Фантазерка. Но это примерно то же самое.
- И что же ты жрешь?
- Ноне не старый режим, полно полуфабрикатов, только разогреть.
- Так заходи ко мне, хоть поешь домашней еды. Раз уж твоя женушка предпочитает мертвыми заниматься.

И вдруг он почувствовал, до чего истосковался по домашнему теплу, по домашней еде, по хоть какой-то женской ласке...

Ему бы сразу насторожиться, когда он увидел, что его ждет ужин при свечах, с вином и какими-то столовыми приборами, почти роскошными в сравнении с дюралевыми ложками-мисками, которые у него ассоциировались с дочкой полка со времен северной шабашки. Сейчас уже не вспомнить, что в тот вечер сработало — подведенные глаза и губы, прическа, платье вместо всегдашних брюк, музыка, полумрак, но в двухкомнатной хрущевке повеяло вечной женственностью, крылатым Эросом...

И в груди зародилась забытая сладостная теснота, хотя он уже давно свыкся с тем, что там всегда будет царить прохладный простор осенней тундры. А когда на прощание она прильнула к его губам, как тогда на Сороковой миле после его чудесного спасения из заполярного бурана, он устоять не смог. И хотя поэзия наутро уже развеялась, на смену ей пришла теплота. Которой ему и на этот раз, как выяснилось, более всего и не доставало.

Но почему-то ему удавалось принимать эту теплоту лишь в ограниченных дозах. Когда, поддаваясь ее уговорам («Куда ты в темноте погреться, еще нарвешься на какую-нибудь шпану!»), он оставался у нее ночевать, она так светилась от счастья, так старалась угадать его малейшую прихоть, что нужно было быть последним садистом, чтобы отказать ей в этой малости. Но когда, как обычно, просыпаешься в три и целый час не решаешься встать, чтобы ее не разбудить, а потом, несмотря на все предосторожности, все-таки будишь и она задает какие-то встревоженные вопросы, предлагает какие-то дурацкие настойки, в то время как тебе хочется только одного — тишины...

И это такая тоска — маяться до утра в чужом доме. А потом, когда наконец приблизится сон, долго не решаться лечь, чтобы не разбудить хозяйку — и все-таки снова разбудить...

Но поди ей об этом скажи!.. «Как это в чужом? Ты что, считаешь меня чужой? Для тебя только твоя Светочка своя?»

Приходится врать о неотложной работе, о том, что ему необходима целая куча книг, которые в портфеле не увезешь, — придумать нетрудно, трудно заставить ее поверить. Для нее у его тревог существует лишь одна причина — он боится своей Светочки: вдруг она позвонит, а то и внезапно нагрянет...

Что, впрочем, тоже не исключается.

Ей не объяснить, что ночью ему хочется освободиться вообще от всего земного, она убеждена, что если мужчина не стремится быть в обществе женщины каждую минуту, то исключительно потому, что он любит какую-то другую женщину. Временами эта примитивность так его раздражала, что однажды он признался: да, я люблю другую, черно-белую и плоскую, — сам был потом не рад, кажется, она так до конца и не поверила, что он пошутил (а он не совсем и пошутил).

Но выбравшись на волю, он снова ощущал Галку близкой и родной, а через пару-тройку дней начинал по ней прямо-таки скучать, звонил уже с предвкушением ее и своей радости, с отрадой, прежде незнакомой, закупал всякую жратву, налегая на картофельно-молочные тяжести, чтобы ей приходилось поменьше таскать, и, проходя мимо задорных пучеглазых львов у ее подъезда, чувствовал себя почти счастливым. В прихожей они нежно, по-супружески целовались, потом болтали, закусывали, иногда немножко выпивали, слушали музыку...

В общем, было все очень просто, было все очень мило, словно он в гостях у старшего друга, у Бахыта или у Мохова. Правда, переходить к постели было немножко странновато, как будто он бы вдруг вздумал целоваться с Бахытом — у Олега и «познавать» ее получалось только сзади, иначе ему не удавалось отвлечься, что это Галка, дочь полка...

Но вид открывался, надо сказать, роскошный, Бахыту не угнаться.

Так что в итоге побывать у Галки в гостях получалось даже лучше, чем у Бахыта. И он снова пропустил первые просверки: «А почему ты мне вчера не позвонил?» — «Да так как-то...» — Бахыт никогда таких вопросов не задавал. «Так что, ты ушел и сразу про меня забыл?» Ну, в общем, да, но он бы так и Бахыту не ответил, просто остолбенел бы: Бах, что, рехнулся?..

«Почему забыл, просто не было повода...» — «А Светочке ты тоже звонишь только по важным поводам?»

Вот тебе и старый друг...

«А почему ты, когда уходил, меня не поцеловал?» «А почему ты никогда не даришь мне цветы?» — ладно, купил, подарил (цветы ему уже давно напоминали исключительно о похоронах.). «Признайся, не хотел же покупать?» Разумеется, не хотел, как можно этого хотеть! «Ну, почему не хотел — раз тебе этого хочется...» — «А самому тебе не хочется?»

В общем, весь комплект. Видно, женщина остается женщиной, сколько бы ни прикидывалась другом.

Как всегда, когда им были недовольны, ему хотелось сразу и лебезить, и скрыться с глаз. Однако любого мужика он, конечно, довольно быстро бы послал, но Галка была, во-первых, женщина, а во-вторых — во-вторых, она была Галка, дочь полка и верный друг, — не забыть, как она его, полузамерзшего, взволакивала на крыльцо, оттирала ему руки и ноги на кухонной плите. А они всей бригадой, возможно, и правда ее кинули — сами переженились, а ее отдали на съедение Обломову. Но все-таки — что у нее было с Обломовым? Она говорит: изнасиловал. Но не мог же академик изнасиловать ее прямо в кабинете, когда под дверью сидит секретарша? И куда-нибудь в лес ее он, слепой, тоже не мог вывезти — его самого всегда кто-то возил. Да и зачем ему было кого-то насиловать, когда ему стоило поманить пальцем. Если уж он перед смертью при живой жене решил вступить в семейство аспирантку с младенцем. Но Галка отчего-то же сделалась такой ранимой, раньше ведь она такой не была!..

И в этот последний вечер от мучительной жалости к ней он начал целовать ее еще в прихожей. Она с готовностью отвечала, но, оторвавшись от ее губ и груди, он уже с досадой (да сколько же можно?..) увидел на ее немолодом личике изрядно поднадоевшее выражение обиженной болонки.

— Опять что-то не так?

— Я вижу, что ты меня хочешь...

— Это что, плохо?

— Нет, мне это очень приятно. Но позавчера ты ушел и не позвонил.

— Извини, забыл. Статью обдумывал о физиологических основах науки. Я и так по три раза в день вздрагиваю: кажется, позвонить тебе забыл!

— А если бы ты меня любил, тебе бы и вздрагивать не пришлось, ты бы все время обо мне помнил. А ты про меня вспоминаешь, только когда тебе дырка нужна. Ты такой же мужик, как все. Я после Обломова вообще на мужчин не могла смотреть, и только ты мне казался другим. Все время повторяла себе: нет, Олежа не такой! А ты оказался такой же.

Чтобы не ответить резкостью, он снял куртку, переобулся в тапочки, отнес принесенный харч на кухню, распахнул в холодильник, сел за стол, дождался, когда она сядет напротив, и только тогда спросил, стараясь, чтобы в голосе прозвучал максимум сочувствия и минимум любопытства:

— Что у тебя все-таки было с Обломовым? Что он прямо взял и...

— У вас, у мужиков, считается, что изнасиловал — это только когда «прямо». Вот за что Америке действительно спасибо нужно сказать — она открыла женщинам глаза на наши права. Я в фейсбуке переписываюсь с целой кучей женщин, их всех когда-то кто-то насиловал, а они этого даже не понимали.

Она заговорила как по-писаному, вызывая глядя ему в глаза, явно готовая дать отпор.

— А в школе чем для тебя была Америка? — спросил Олег, чтобы только увести от взрывоопасной темы.

— Что на политинформации внушали, тем и была: империалисты, угнетатели. Хиросима и Нагасаки. Куклуксклановцы. Я из-за этого очень негров любила, всегда делала им приветливое лицо. А за индейцев и сейчас переживаю. А еще мой отец работал электриком в военном училище, и я знала, что наших ребят в Афганистане убивают американским оружием. Я даже на школьном вечере читала стихи: для чего построен Белый дом, сколько горя причиняет он. Я вообще такая была дура доверчивая! Мечтала встретить какого-то рыцаря и служить ему оруженосцем... А почему не самой быть рыцарем? Наша группа так и называется «Я для себя».

— А я тоже мечтал быть оруженосцем. И был счастлив, пока служил Обломову. А Боярский говорил, что если бы в институте ему сказали: ты будешь как Эйнштейн, но не выше, он бы отказался. Вот теперь и болтается в Америке между небом и землей на парашюте. Кстати, он рассказывал, что у них там на конференции по аэродинамике из четырех дней один посвятили харассменту. Это у них теперь такой марксизм-ленинизм — во все дырки надо совать.

— Вот и хорошо. Вас еще до-олго надо перевоспитывать.

— Начни прямо сейчас. Скажи мне, пожалуйста, как у вас это с Обломовым получилось? Он что, прямо накинулся?

Олег старался смотреть на нее с самым невинным видом, словно в его вопросе не было ровно ничего пикантного.

— Ну, нет, конечно. Ты, наверно, тоже замечал, что он терпеть не мог, когда подчеркивали его слепоту. У него во дворе он ветки не разрешал остричь — сам в нужный момент пригибал голову. Никогда никого не просил перевести через улицу, только всегда носил при себе паспорт. Чтобы, если что, могли его опознать. И в тот день приехал с синяком на скуле — опаздывал на лекцию и где-то решил срезать. У меня прямо слезы выступили. Я говорю: неужели вас кто-то из домашних не мог проводить?.. Но он про это и слышать не желал — я сам не хотел вставать, все надеялся, что сон продлится, я же во сне вижу. И тут уж у меня слезы хлынули, как из ведра, я не выдержала и осторожно так погладила его по синяку. А он тут же меня облапил, он же такой был здоровенный...

— Но ты сопротивлялась как-то?

— Я от ужаса и пискнуть не смела. Да там еще и секретарша сидела под дверью.

— Он что, и дверь не запер?

— Нет, он всегда запирали, когда мы работали. Дома не запирали, а на работе запирали. Он же там был небожитель. А небожителя не должны заставить врасплох. Или не знаю. Но он запирали не только с мной, с мужчинами тоже.

— Да, я помню. Так он тогда мог и не понимать, что тебя насилует?..

— Он и не понимал. Он у себя в колхозе на сеновале привык, что если Дунька не вершит, не царапается, значит, она согласна.

— А по-вашему, по-американски требуется нотариально заверенное согласие на каждую фриквию?

— Не надо окаркиатуривать, это не повод для смеха.

— Какой может быть смех, когда речь о святом. А после этого между вами что-то было?

— Ну, конечно. Он для нас квартиру снял на Зверинской. Мы там встречались до самого моего увольнения.

— И всякий раз это было насилие?

— Вы, мужики, смотрите ужасно примитивно. Вы думаете, существует только физическое насилие. А можно насиловать авторитетом, возрастом, чувством жалости, вины...

— Красотой, щедростью, остроумием, славой...

— Не надо окарикатуривать.

— Я бы рад окарикатурить, да некуда. Меня, оказывается, тоже всю жизнь насиловали.

— Смейся, смейся... Когда я подала ему заявление, он тоже не мог понять, чем я недовольна. Сплетничают — значит завидуют, про него еще больше сплетничают. Он же и ребенка мне предлагал оставить... Для него это была бы только лишняя слава, а для меня лишнее унижение. Но он до конца не мог поверить, что я ухожу все-ррез. Как, от него, от гения, от лауреата!.. От хозяина! О ком все бабы мечтают!..

Ее чуточку раскосенькие глазки под рыжей челкой мстительно прищурились, а в голосе зазвучало торжество.

— Он мне напоследок сказал: а я думал, ты меня любишь. С ухмылкой, но все-таки сказал. Даже не думала, что он слова такие знает. А я ему ответила, что, может, и любила, пока вы меня не начали лапать. А он говорит, я не лапал, я просто хотел узнать, какая ты есть. А то мне казалось, что ты как будто и не женщина. Если не врет, он всех по голосу представляет — кто-то как будто исподлобья на него смотрит, кто-то с оглядкой... И у всех в голосе есть какая-то хитринка, все от него чего-то хотят. И только у меня одной никакой хитринки не было. Так он сказал. И, наверно, был прав, вторую такую дуру трудно найти. Незадолго до смерти он мне вдруг снова позвонил, начал рассказывать, что его приглашают с лекциями в ваш любимый Массачусетский технологический институт, а он не хочет ехать. Когда его еще при мне в Италию приглашали, за лекции обещали миллион лир, так он куражился. Говорил, что сошьет кожаный мешок и будет по улицам лиры разбрасывать. Но тогда его первый отдел не отпустил, а теперь он сам не хочет. Все равно же, говорит, Америки ихней не увижу, а деньги с собой не заберешь. Потом начал рассказывать, что пацаном мечтал увидеть Черное море, а теперь перебивал на всех морях, и толку что? И вдруг без всякого перехода объявил, что, кажется, за всю жизнь любил только меня. Представляешь? «Кажется»... Но теперь-то я понимаю, что все это манипуляции, чтобы вызвать у меня чувство вины.

— Какие они у тебя умные, твои инструкторши!

— Да, не такие дуры, как я. Ведь когда я узнала, что он умер, мне и жалко его сделалось ужасно, и виноватой я себя почувствовала страшно... Всю ночь прорыдала, как дура. Но мне умные женщины объяснили, что манипуляторы этого и доби-ваются, поддаваться нельзя.

— А я вот поддался. Кажется, сейчас заплачу...

— Это и есть дискриминация. Мужику стоит выказать на копейку человеческих чувств, и все уже готовы плакать. А от женщины воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Вот я тебе все готова отдать, а ты про меня вспоминаешь, только когда что-нибудь понадобится.

И тут он наконец сорвался. Не из-за себя, из-за Обломова.

Сорвался не в пламень, в лед, в пламень он и забыл, когда в последний раз срывался.

— Вот ты говоришь, что все готова мне отдать. А что у тебя есть?

Он дал ей подумать и продолжил почти с наслаждением:

— Ты даешь мне то, чего тебе все равно некуда девать — избыток любви. А взамен требуешь то, чего у меня нет. У меня давно уже нет любви ни к кому, я сыт любовью по горло. Мне требуются только тепло и дружба, и я готов был тебе их тоже дарить. Дружба дает, что хочет, и берет, что дают, а любовь норовит все сожрать. Дружба выше любви.

Он говорил, не отводя от нее безжалостного взгляда, но лица ее не видел. И даже когда прощался, так ее и не разглядел.

Было все очень просто, было все очень мило, пока в который раз не пришла любовь, чтобы все испоганить. Но, слава богу, наконец-то развязался.

Он уже выбрался из подводного царства осьминогов, крабов и акул и осторожно, шаг за шагом двигался к метро вдоль длиннейшей стеклянной витрины, нарезанной нескончаемой чередой вывесок.

РИВ ГОШ, KFC, БУРГЕР, КЕБАБ, РЕМОНТ ПЛАНШЕТОВ, GOLFSTREAM, 585 GOLD, ВТБ, LADY SHARM, МТС, МАГНИТ, ТЕРВОЛИНА, ЕВРОБУВЬ, огненные письма: SEX SHOP 24 ЧАСА...

Целых двадцать четыре — куда столько? Он чужой на этом празднике жизни.

Да и в своем доме он чужой, но он уже научился обходить его ранящие выступы. Нельзя заходить в комнату сына, даже на дверь лучше не смотреть. На дверь жены смотреть можно, но заглядывать туда ни в коем случае нельзя — только лишний раз убедишься, что тебе в ее мире нет места, ибо ты не только не пал за Родину, но даже и не выказал к тому ни малейшей охоты. А стены ее сплошь оклеены фотографиями безымянных героев, которым она возвращает имя и фамилию.

И ведь как она его любила когда-то, приближение его постоянной спутницы — тоски замечала раньше, чем он сам: «Что-то вид у тебя треугольный, ну-ка щечки взобьем!» И начинала парикамахерскими пошлепываниями снизу вверх взбивать его щеки, пока он не начинал улыбаться.

А теперь фотографии мертвых для нее важнее живых.

У него же в комнате всего одна фотография, та самая черно-белая и плоская его любовь. На случай, если Светка — хотя какая она теперь Светка! — вздумает поинтересоваться, он решил выдать ее за Эмму Нетер, сумевшую вывести законы сохранения из однородности-изотропности пространства. Но жена во время редких визитов никакого интереса к его единственной сказке не выказывала. А ему хотя бы есть с кем перекинуться словом. Он иногда сочинял даже целые письма своему тайному другу. И в этой любви к фотографии было самое главное преимущество — с нею можно было не притворяться хуже, чем он есть.

По всему бескрайнему пересохшему болоту там-сям валялись окоченевшие дохлые коровы всеми четырьмя копытами вверх, на них изливались большие фиолетовые кляксы, тут же съедавшие их, подобно кислоте. И проснувшись, Олег первым делом подумал: а какие же, интересно, сны видел Обломов?

«Вот и про Обломова мы, оказывается, ничего не знали... И как прожила свою жизнь Галка, я тоже понятия не имею».

Но почему так по-особенному паршиво на душе? Ага, Галку обидел. Чем хорошо было у нее просыпаться — она одним своим счастливым видом разгоняла его тоску. И уже запах кофе слышался бы с кухни — не дорог запах, дорога забота. Ведь она всегда была добрая, верная, щедрая, она и теперь такая, когда не обижена на весь мужской род.

Но чем-то же мужской род провинился? Ведь самое лучшее, что есть в России, это гении и женщины, а две лучшие женщины, которых я знал, — одна воскрешает мертвых, другая расчесывает обиды. И мы тут что, совсем ни при чем?

Господи, наконец-то я понял, в чем наша вина перед женщинами: МЫ ДОПУСТИЛИ ИХ РАВЕНСТВО С НАМИ!

Мы должны были защищать их от жестокости, грязи и подлости мира, а мы позволили им погрузиться в его ужас и мерзость, — и это хуже, чем предательство, это тупость. Это как жарить соловьев, как скрипкой вычерпывать выгребную яму, как...

Глупости такого вселенского масштаба исправить уже невозможно, это непоправимые дела мачехи-Истории, но и моего здесь капля яду есть.

Не вставая с постели, он дотянулся до телефона. Он знал, что для Галки, как и для всех женщин, интонация важнее слов, но и слова у него были не пустые, он по себе знал, что расчесывать раны, лелеять месть — очень приятное занятие, но простить и забыть — это исцеление. Так что нужно, не пускаясь в разборки, кто в чем прав и в чем не прав, просто сказать: «Галочка, прости меня, дурака. Я вовсе не мужик, а идиот. Будь я настоящий мужик, я бы никогда не стал сердиться на обманутое жизнью чудесное создание, а выполнял бы все его детские прихоти и улыбался каждой его улыбке».

Да нет, это слишком вычурно: она расцветет, чуть лишь просто услышит нежность в его голосе, а нежности в его душе давненько столько не собиралось.

— Галочка, привет!

Молчание. И незнакомый, но очень строгий женский голос:

— Здравствуйте, вы Олег?

— Да, а с кем, простите...

— Я ее подруга. Она мне много про вас рассказывала. Галя вчера вечером перерезала себе вены.

.....

— Але, вы меня слушаете?

— Да, да.

— Но я как почувствовала, часов уже около двенадцати ей вдруг позвонила — как будто что-то толкнуло, я ей никогда так поздно не звонила. И по голосу сразу все поняла...

— Так она жива или?..

— Она в реанимации. В клинике Скорой помощи.

Что новая жизнь принесла — такси прибыло через десять минут.

Зато она же, среди прочих ненужностей, нафаршировала город еще и автомобилями, — от светофора до светофора такси ползло по полчаса. И над каждым следующим небо становилось все темнее, а под каждым следующим кружилось все больше снежинок — то кроваво-красных, запретных, то зеленых, как тогда в тундре в зеленых волнах полярного сияния. А когда они ползли мимо Волковского кладбища, его ужасные советские оградки были уже едва различимы в снежной круговерти.

Гигантский холодильник клиники в снежном месиве был почти неразличим — все это до такого одурения напоминало тот буран в тундре, после которого его оттирала Галка, что, карабкаясь и оскользаясь на бесконечном крыльце, он невольно высматривал сквозь прищуренные веки, не выбежит ли она ему навстречу в своих резиновых сапожках и ватничке поверх ночнушки.

Но Галки не было. Теперь настала его очередь ее спасать.